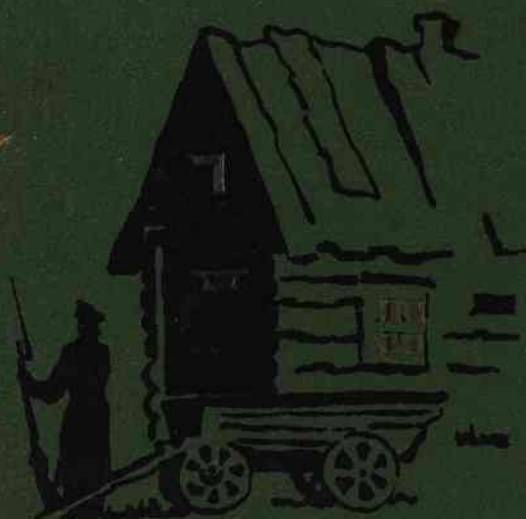


Константин Седых

ОТЧИЙ
КРАЙ





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

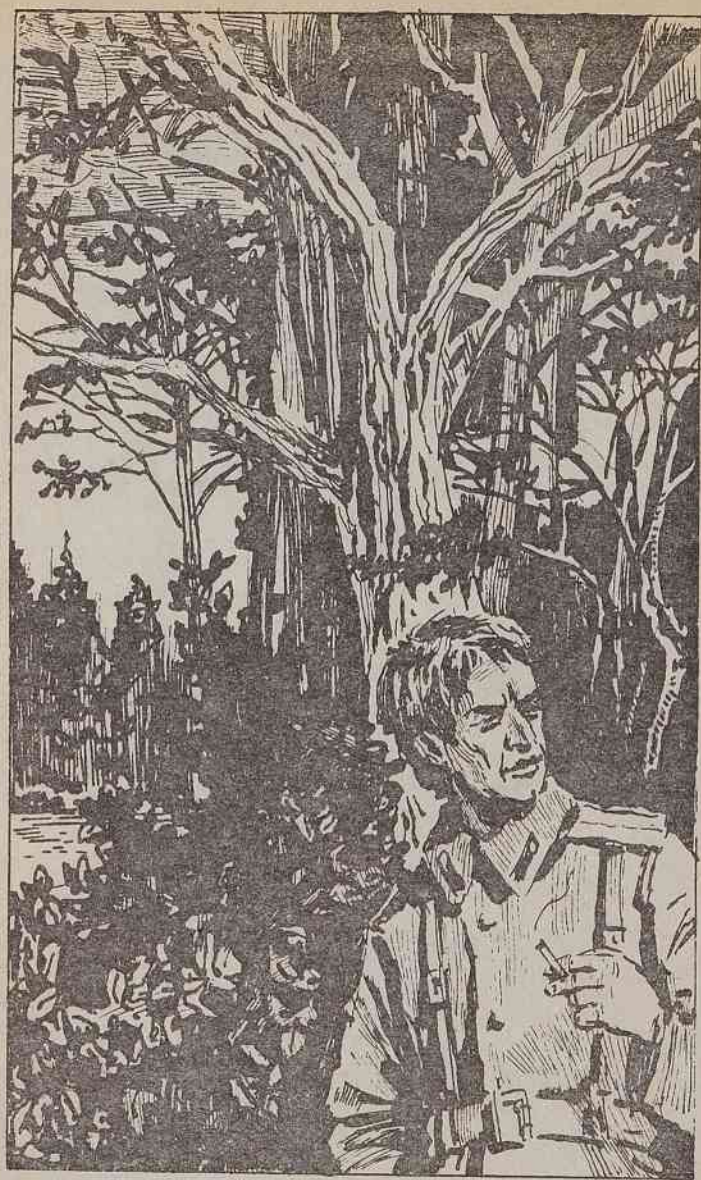
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред выдач.

З ТМО Т. 3.600.000 З. 3837—89

КОНСТАНТИН СЕДЫХ

ОТЧИЙ КРАЙ



Константин Седых



ОТЧИЙ
КРАЙ

Роман

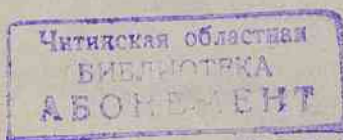
Харьков
СП «Фолио»
1993

84(2-рус)7 ✓
ББК 84Р7
С28

Издание подготовлено по заказу
МП «ЭКМО»

Художник-оформитель
В. Челак

2000г.



557554

Седых К. Ф.

С28 Отчий край: Роман / Худож.-оформитель В. Че-
лак.— Харьков: «Фолио», 1993.— 576 с.

ISBN 5-7150-0099-8.

2016
В романе «Отчий край» сюжетно завершаются события
широко известной читателям книги «Даурия», повествующей
о полувековой жизни сибирского казачества.

С 4702010201—096
93 Без объявл.

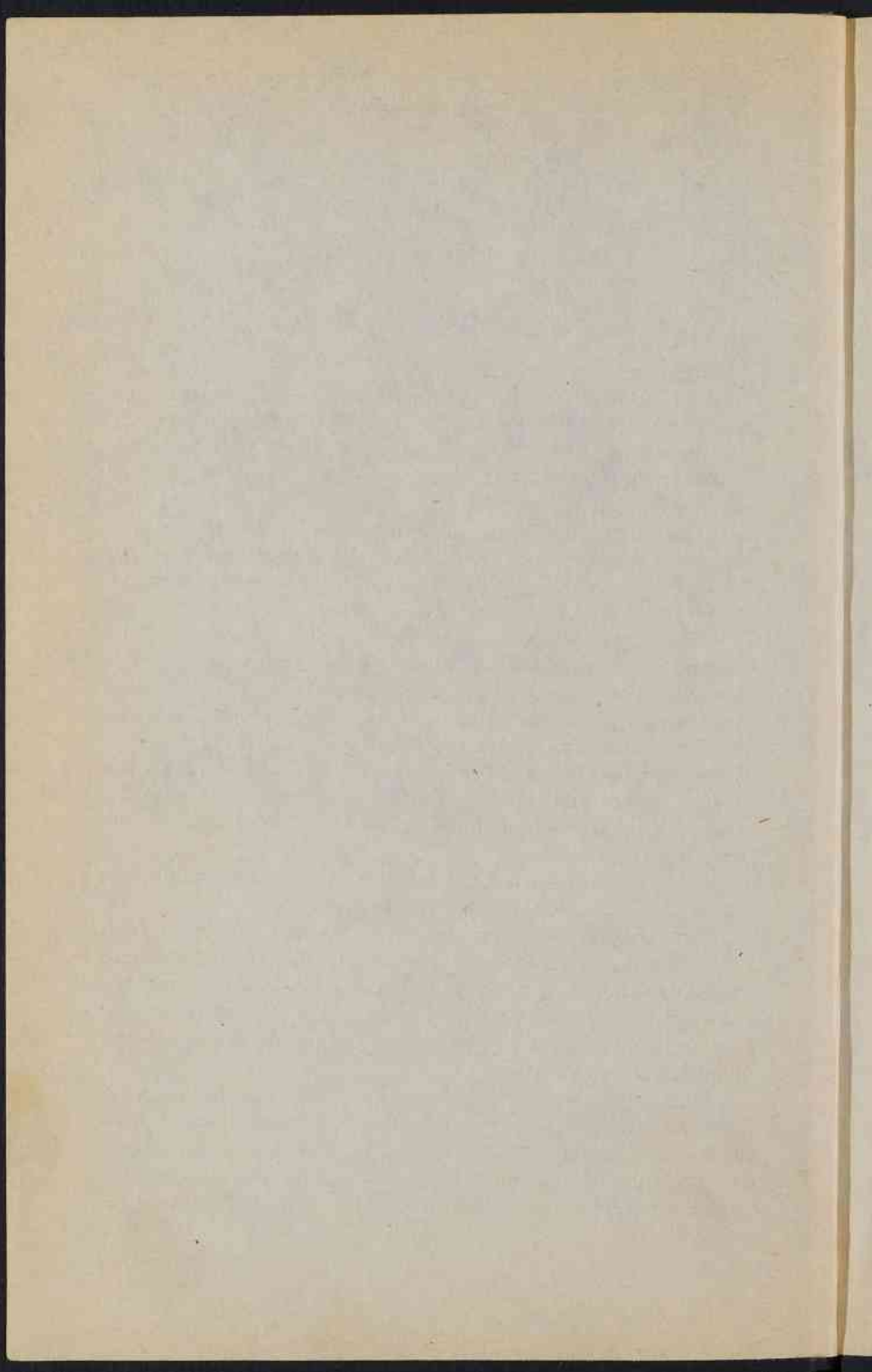
ББК 84Р7

ISBN 5-7150-0099-8

2022
© МП «ЭКМО», художественное
оформление, 1993



Часть первая



Молодость, молодость!..

Я не знаю человека, который думал бы о тебе без волнения и благодарности, без улыбки на самых суровых устах. Всем нам светило твое незакатное солнце, гремели весенние громы, бил в лицо неумный ветер, шумели деревья и кланялись травы в степи. Все твои краски и звуки, мечты и дерзания, радости и печали храним мы в памяти, как драгоценный дар. И чем ярче было твое неповторимое цветенье, тем полней и значительней вся последующая жизнь человека на этой чудесной земле...

Нелегкая молодость выпала на долю казацкого сына Ганьки Улыбина. Простодушным, не знающим жизни подростком проводила его в партизаны убитая горем мать. Солнечным майским утром под раскаты артиллерийской пальбы умчался он на коне из ограды родного дома. В покинутый красными поселок ворвались белые казаки атамана Семенова. Они сожгли улыбинскую усадьбу со всеми постройками, закололи волов и корову, застрелили на пожарище пса Лазутку.

Словно сорванный с дерева лист, закружило и понесло Ганьку в потоке непонятной грозной жизни.

Прикрываясь заслонами от наступавшего по пятам врага, партизаны вырвались из окружения и стремительно уходили вниз по Аргуни. Командовал ими отсидевший восемь лет на царской каторге Ганькин дядя Василий Андреевич Улыбин, про которого люди говорили, что он «большевик до мозга костей».

Горели подожженные снарядами леса на сопках, клубился, сливаясь вдаль с облаками, белый дым. Бурой пылью застлало избитый ухабистый тракт. По нему на рысях проходили тысячи всадников, катились со стуком и дребезгом вереницы обозов. В набитых сеном и соломой те-

легах проклинали все на свете истерзанные невыносимой тряской раненые. Прикрывающие обоз бойцы угрозами и руганью заставляли мобилизованных возниц немилосердно нахлестывать лошадей. Нужно было спешить и спешить, чтобы оторваться от белых, чьи пушки властно напоминали о себе то звонким разрывом шрапнели, то тяжким ударом гранаты вблизи от дороги, где нежно зеленели на пашнях всходы пшеницы, пахуче и радостно распускалась черемуха.

Ослепительно синело высокое небо, сияло над Забайкальем вечно веселое солнце. Ганька ехал в самой середине растянутого на версты, грохочущего и орущего в сотни глоток обоза. Был он в синей сатиновой рубаше, подпоясанной патронташем, в стоптанных ичигах из кожи-сыромяти и старой казачьей фуражке с желтым околышем. За плечами у него висела охотничья фляга. Своей молодостью и растерянно-озабоченным видом подросток привлекал к себе внимание многих. В попутных станицах и селах, глядя на него, всхлипывали и сокрушались от недобрых предчувствий партизанские жены и матери. Только у ребятишек вызывало его появление жгучую зависть.

Все время дорога шла по берегу Аргуни. Целый день Ганька видел справа от себя заросшие лесом сопки Маньчжурии, слева — голые, сплошь распаханые под пашни сопки Забайкалья. Постепенно сопки становились все круче и выше, все ближе подступали к взбаламученной сильной низовкой реке. Сверкали снежно-белые гребни волн, качались под ветром буйные заросли верб и черемух, облитых зеленым лаком распускающейся листвы. Вились над рекою чайки, кружили в поднебесье коршуны, звенели серебряными колокольчиками жаворонки. Тоскующими глазами следили за ними сидевшие и лежавшие в телегах раненые, обмотанные запыленными и рыжими от засохшей крови бинтами.

Часто дорога пересекала глубокие заболоченные распадки с текущими в них студеными ручьями. Водой из ручьев Ганька поил сгоравших от жажды раненых. На этих людей было больно смотреть. Еще недавно полные сил и здоровья, были они теперь совершенно беспомощны. У самых тяжелых западали глаза, обострились заросшие жесткой щетиной лица. Всем им требовался полный покой, а их без конца трясло и мотало по камням и ухабам. Несколько че-

люди находились в безнадежном состоянии. Они доживали последние минуты на залитой вешним светом земле, расставаться с которой так трудно и горько.

На одной из коротких остановок к Ганьке подъехал пожилой, не деревенского вида человек на соловом черном гривом коне с высоко подрезанным хвостом. Был он маленький, словно весь ссохшийся. Морщинистых, глубоко запавших щек его совсем не коснулся весенний загар. Жесткие седые усы воинственно торчали в стороны, а небольшая красивая борода была заботливо подстрижена совсем недавно. Из-под припухших красноватых век бодро и доверчиво глядели на все окружающее ясные доброжелательные глаза. Был он в белой фуражке с темным бархатным околышем, в поношенной форменной тужурке с серебряными пуговицами, со следами споротых петлиц на воротнике. Под распахнутой тужуркой виднелась серая косоворотка с вышивкой на груди.

«Какой-то учитель, — решил про него Ганька. — И зачем только понесло такого на войну? Шибко уж он худой и на коне сидит, как огородное пугало. Того и гляди, что свалится».

— Здравствуйте, товарищ! — любезно поклонился мужчина, поднеся руку к козырьку фуражки. — Разрешите воспользоваться вашей флягой? Один раненый товарищ сильно хочет пить, а у меня как на грех ни фляги с собой, ни кружки.

— Берите! — протянул ему Ганька только что наполненную флягу.

— О, да она с водой! Значит, не придется мне слезать с коня. Наездник из меня, как видите, никудышный. Свалиться с моего Россинанта я способен в любую минуту, а взгромоздиться на него могу лишь с помощью пенька или забора.

— Вам бы лучше в телеге устроиться, — посочувствовал ему Ганька. — Этак с непривычки все потроха растрясете.

— К счастью, потрохов у меня нет, молодой человек. Давно остались одни жилы да кости... А относительно телеги вы правы, конечно. Но об этом мне некогда было думать. Карательный отряд уже вступал в деревню. Для меня это означало верную смерть. Но тут неожиданно ко мне пожаловал с оседланным запасным конем один мой бывший

ученик, командир партизанской сотни. Усадил меня на него и заставил скакать сломя голову. Пока уходили от пого-ни, он успевал отстреливаться и оберегать меня от падения на землю-матушку. Вспоминаю сейчас эту сумасшедшую скачку — и в жар бросает.

Напоив раненого, человек вернул Ганьке флягу и сказал:

— Будем держаться рядом, раз свела нас судьба. Вы как, не против? Нет? Тогда все в порядке. Давайте позна-комимся. Георгий Алексеевич Окунцов, учитель из Ша-манки. А вы?

— А я Улыбин из Мунгаловского.

— Чересчур коротко отрекомендовались, — рассмеял-ся Окунцов. — Меня интересует ваше имя, молодой че-ловек.

— Ганька.

— Значит, Гавриил Улыбин? Кем же вы доводитесь Ва-силию Андреевичу Улыбину?

— Племянником.

— Вот как! Тогда понятно, почему оказались у крас-ных. Правильно поступили. Иначе могли бы поплатиться головой за свое родство с таким выдающимся большеви-ком. На все Забайкалье гремит его имя.

— А вы почему партизанить пошли? — осмелился спросить Ганька.

— К этому решительному шагу я был подготовлен всей моей жизнью. За мои политические убеждения при царе я дважды подвергался административной ссылке в Сибирь. В Россию потом так и не выбрался отсюда. Долгое время пе-ребивался случайными заработками. А когда наконец раз-решили мне учительствовать, на одном месте засиживать-ся не давали. Зимой учительствую в какой-нибудь глухой деревушке, а летом перебираюсь в другую по предписанию полицейского исправника. Делалось это для того, чтобы не успел я сдружиться с мужиками, внушить им разные бун-тарские мысли. Гоняли меня из деревни в деревню целых двенадцать лет. Только в семнадцатом году обосновался я в Шаманке среди приискателей. А через год стал членом приискового ревкома, выступал на митингах и собраниях, за что и был записан разными старорежимцами в самые от-петые большевики. Отрицать этого я не стал, а взял да махнул в партизаны.

Окунцов озабоченно вздохнул, потом продолжал:

— Знаю, житье впереди предстоит нелегкое. Но это меня не тревожит и не печалит. Я рад, что оказался на старости лет среди восставшего за свою свободу народа. Было время, когда я и мечтать не смел, что доживу до такого дня. Но, как видите, дожил. Жалею же лишь об одном: боюсь, что не смогу быть полезным в полной мере всем этим замечательным людям, поднявшимся на борьбу с проклятым старым миром.

— Ничего! — сказал Ганька. — Будете живой-здоровый — дело вам найдется. На войне учителя тоже нужны.

Окунцов с ласково-хитрой усмешкой в глазах поглядел на вздумавшего утешать его подростка и весело согласился с ним:

— Да, на этой войне учителя нужны. Все эти люди, — обвел он рукой вокруг себя, — должны знать, за что они воюют, и что с ними будет, если они не сумеют победить. Значит, надо скрипеть и держаться...

Назавтра к вечеру преградили партизанам дорогу величавые горы, закутанные в облака. На горах синела вековая, богатая зверем и птицей тайга. Над гневно кипящей в теснинах Аргунью вилась там по отвесным скалам тропа, недоступная для обозов. Телеги с военным имуществом, с беженцами и ранеными струдились в пади Убиенной, под обрывами Винтовальной горы, розовой от буйно цветущего багульника. На всю жизнь запомнились Ганьке эти названия. Там кончилось его отрочество и началась полная невзгод и лишений молодость.

Конно-азиатская дивизия барона Унгерна настигла красных. Завязался ожесточенный двухдневный бой. Бились ночью и днем. А в это время в тылу вязали и сколачивали плоты. Топорами и шашками рубили в лесу деревья, скатывали бревна с обрывов в реку. Работали все, кто стоял на ногах. По огромному плотбищу пылали незатухающие костры. В котлах и ведрах варили конину и ели без хлеба и соли.

Вместе со взрослыми скатывал Ганька с горы тяжелые листовенные бревна. Ломая усыпанный цветами багульник, увлекаемая с собой лавину камней и щебня, летели и падали в воду бревна со сбитой, измочаленной в клочья корой. Покрытые синяками и ссадинами руки подростка потемнели от клейкой смолы; разодранная в локтях рубаха намочила от пота. А на юге, подстегивая его и всех, кто работал в

тайге и на плотбище, с каждым часом все ближе и ближе бухали пушки, вспыхивала и замирала ружейная трескотня. Там сражались насмерть отборные партизанские заслоны. Все чаще приносили оттуда убитых и раненых бородастые пожилые санитары.

Окунцов, с которым Ганька ночевал под одной телегой, деятельно помогал поварам, варившим конину. Сняв с себя тужурку, таскал он охапки хвороста, ходил на ключ за водой. Ганька легко узнавал его по белому верху фуражки, по ковыляющей стариковской походке и с радостью думал:

«Скрипит, как старая лиственница, а не рассыпается. С самого утра на ногах. Живущий, ничего не скажешь».

В полдень Окунцов с ведром холодной воды поднялся к работающим в полугоре партизанам. Когда он поставил ведро на землю и остановился, то долго не мог отдышаться. С лица его градом струился пот. Руки тряслись и дрожали, на груди от сильного сердцебиения ходуном ходила косоворотка.

«Ну, кажется, испек себя наш учитель», — с горечью решил про него Ганька. Но Окунцов отдышался и бодро закричал:

— Товарищи! Кто хочет пить, милости прошу.

Люди в мокрых исподних рубашках бросились к нему со всех сторон, и он стал раздавать им воду по кружке на брата.

Выпив свою порцию, каждый считал своим долгом поблагодарить учителя. Ганька с удовольствием слушал, как люди говорили ему:

— Ну спасибо, старик! Это ты здорово придумал. Вон какую крутизну одолел с ведром в руках. Пойдешь назад — гони сюда с водой тех, кто помоложе.

Последнюю кружку воды Окунцов приберег для Ганьки. Когда Ганька напился и поблагодарил его, он довольным голосом сказал:

— Вот, Улыбин, и я пригодился. Порадовал людей чем мог. Правда, с непривычки мне тяжело пришлось. До сих пор сердце мечется, как соболев в ловушке. Но это не беда. Посижу вот в тени и отдохну. А ты тем временем беги вниз и скажи какому-нибудь командиру, чтобы прислал сюда несколько человек с водой. Я ведь у людей только жажду растравил.

Ганька взял ведро и побежал под гору.

Там он нашёл командира обозной охраны знакомого партизана Кушаверова. Кушаверов тут же отрядил с ним четверых молодых обозников с ведрами. Они набрали воды и с частыми остановками зашагали по выючной тропке в гору.

Когда Ганька роздал принесенную воду изнывавшим от жары и жажды людям, Окунцов подошел к нему веселый и отдохнувший. Показывая на работающих в лесу и на плотбище людей, он взволнованно заговорил:

— Чувствуешь, какую силу подняли большевики? С этой силой ни семеновым, ни колчакам не справиться. Одно слово — народ. Дай ему время, он горы сдвинет, сделает свою жизнь вольной, разумной и красивой. Верю я в это. Жить, бороться и умереть за будущее этого народа — самый высокий удел для каждого честного человека...

На второй день снаряды унгерновских батарей стали рваться на плотбище, убивая и калеча людей, разбивая плоты и телеги. Всякий раз, когда падали рядом убитые, Ганька плакал, не стыдясь своих слез и даже не замечая, что плачет. За себя он не боялся. С безрассудством подростка он был твердо уверен, что ничего плохого с ним не может случиться, но все время с тревогой следил сперва за Окунцовым, потом за дядей Василием, недавно появившимся на берегу среди ожесточенно работающих людей.

Василий Андреевич сейчас один командовал всеми отошедшими на Аргунь отрядами и полками. Начальник штаба Бородищев был ранен и лежал без сознания в одной из палаток на берегу. Узнав о его ранении, Василий Андреевич прискакал с передовых позиций, чтобы предотвратить готовую вспыхнуть в обозах панику. Судя по забинтованной голове, он был тоже ранен. Медленно прохаживаясь по плотбищу, он распоряжался спокойно и властно. После каждого близкого разрыва Ганька боялся, что дяди Василия уже нет в живых, а тот все расхаживал среди телег и бревен, похлестывая себя нагайкой по голенищу. Дважды проходил он совсем близко от Ганьки и не заметил его. Подойти же и показаться ему Ганька не решился. Знал, что дяде сейчас не до него.

Еще утром послал Василий Андреевич партизан китайцев на Маньчжурскую сторону за ботами и лодками. Посланные побывали в бакалейках, расположенных ниже Винтовальной, и вернулись оттуда с двумя десятками ло-

док, с продуктами и разрешением китайских властей переправить к ним всех, кого успеют. Фельдшеры отобрали тяжелораненых и стали перевозить их за реку.

Артиллерийские наблюдатели белых заметили это и открыли яростный огонь по реке, по устью Убиенной. Четыре лодки с ранеными были потоплены. Остальные вынуждены были уплыть вниз по течению, прижимаясь к своему берегу. Сильно пострадали от обстрела и обозы. Люди успели скрыться под нависшими над распадком скалами, но десятки лошадей были побиты и покалечены, многие телеги разнесены вдребезги.

К вечеру разыгралась большая гроза. Медленно надвигалась с востока, из-за зеленых предгорий Большого Хингана, темно-синяя туча с ослепительно белой верхушкой, с пышно взбитыми клубящимися краями. То и дело пробегали по ней, ветвясь и извиваясь, гремучие молнии. Скоро голубые вспышки заблестели над плотбищем, где неистово трудились тысячи людей. Как муравьи, облепили они плоты, копошились на берегу, стуча топорами, свивая из распаренных прутьев толстые кольца. Когда из тучи скользнула слепящая белым огнем исполинская молния и вонзилась в верхушку Винтовальной, оглушенные громом люди задвигались быстрее, пуще загорланили и застучали. Только смерть могла их сделать неподвижными и немыми.

С чувством внезапной восторженной гордости Ганька глядел на них со склона горы, пока не обрушился на землю ядреный шумный ливень. Надолго скрыл реку и горы, людей и телеги низвергнувшийся с вышины водопад. Сразу стало темно, как ночью. По рвам и расщелинам хлынули с Винтовальной бешеные потоки. Скоро ручеек в Убиенной сделался неукротимой, все смывающей на своем пути рекой. По ней вперегонки поплыли деревья, колеса, ящики, хомуты и дуги.

Пользуясь наступившим затишьем, на плотбище продолжали работать.

2

Ночью нагруженные беженцами и ранеными плоты стали отваливать один за другим от берега. К рассвету там остались лишь брошенные телеги и убитые лошади.

Затем начался отход боевых частей. Сотня за сотней вытянулась гуськом и стала подниматься на утопающую в сизом тумане гору. Бойцы вели коней в поводу, прижимаясь на скользкой и узкой тропе к замшелым скалам, у подножья которых шумела и клочкотала река. В самых опасных местах, где нельзя было ни разойтись, ни разъехаться, непривычные к тяжкому пути кони испуганно фыркали, садились на задние ноги, рвались, обезумев, из рук. Чтобы не задерживать движение, таких убивали выстрелом в ухо и сбрасывали в полную мглы и сырости пропасть. Так был пристрелен и Ганькин конь, смирный и выносливый Гнедко. Когда он заартачился и остановился на коварной тропе, из мрака вынырнул коренастый суровый партизан в солдатской папахе. Он схватил коня за повод и мрачно скомандовал Ганьке:

— Слазь!

И только Ганька спрыгнул с седла, как раздался выстрел. Гнедко судорожно дернулся и упал сперва на колени, потом перевернулся на бок, суча ногами. Тотчас же темные молчаливые фигуры людей обступили его и сбросили в бездну.

— А как же теперь я? — растерянно спросил Ганька коренастого фронтовика.

— Пешком пойдешь!.. Давай проходи, не задерживайся.

Потрясенный расправой над бедным Гнедком, Ганька с ненавистью поглядел на фронтовика, обозвал его мысленно собакой и зашагал по тропе, как пьяный.

До ближайшей станицы было четырнадцать верст. Голодный и мокрый с головы до ног, шел Ганька сначала по обрыву над рекой, затем по черному, горелому лесу. Берданка за плечами вдруг сделалась страшно тяжелой и неудобной. Она натирала ремнем плечо, больно колотила по спине затвором. Он шел и чувствовал, что силы на исходе.

В пути все время обгоняли его незнакомые угрюмые партизаны. Никто из них не пожалел его, не посадил к себе. А один парень в серой войлочной шляпе, с глазами навывкате, обгоняя его, прокричал:

— Торопись, сосунок! Теперь ты самый последний! Попадешь к баргutam — кишки на пику смотают...

И Ганьке стало страшно. Он знал, кто такие унгернов-

ские баргуты и чахары. Они служили у Семенова по найму и были самыми отпетыми карателями. Они арестовали и изрубили шашками Ганькиного отца Северьяна и казаков-фронтовиков, не успевших уйти к партизанам. Вообразив, что каратели вот-вот настигнут его, он сбросил с себя ватную куртку, разулся и побежал. Остановился, только заведя вниз, среди курчавой зелени сопки, Аргунь и широкую станичную улицу, до отказа запруженную народом.

В станице, сморенный усталостью, он свалился у первой же избы в тень от бревенчатого тына и крепко заснул. Уже вечером на него случайно наткнулся мунгаловец Федот Муратов, вернувшийся с германской войны с четырьмя георгиевскими крестами. Он доставил Ганьку к Василию Андреевичу, в просторный купеческий дом, где разместился штаб.

Василий Андреевич только что вернулся с китайской стороны, куда ездил договариваться об устройстве там партизанского госпиталя. Госпиталь ему разрешили устроить в тридцати верстах от границы, в глухой тайге, чтобы можно было в случае необходимости заявить, что создан он красными на собственный страх и риск.

Увидев Ганьку, оборванного, исхудалого и словно оглушенного всем пережитым, Василий Андреевич покачал забинтованной головой, невесело усмехнулся:

— Значит, тоже с нами махнул? Это ты, пожалуй, правильно сообразил. Если уж семеновцы наш дом сожгли, то и тебя бы не пожалели. Мы с Романом им поперек горла стоим. Теперь они всей нашей родне будут мстить.

— Разве наш дом сожгли?! — испугался Ганька. — Где же теперь мама жить будет?

— Сожгли, племяш, сожгли. Горелого пенька не оставили. Видели наши разведчики с сопки за кладбищем, как запылали во всех концах Мунгаловского партизанские дома. А твоя мать... Боюсь, Ганька, что и с ней могли расправиться.

— Ну, мама их дожидаться на стала. Проводила меня, повесила на двери замок и ушла к бабушке Шулятьихе. Та ее не выдаст. Спрячет за печку или в подполье.

— Тогда другое дело! — обрадовался Василий Андреевич. — Будем считать, что с ней все обстоит благополучно. А о доме ты не тужи и Гнедка не жалея. Дом мы новый построим. Почище старого сгροхоем, как белопогонников ра-

зобьем. А насчет коня я что-нибудь сегодня соображу. Пешим тебя не оставлю.

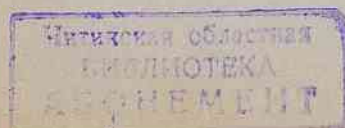
Но ночью дядя разбудил Ганьку, приказал ему собираться и ехать за границу с людьми, назначенными для обслуживания и охраны партизанского госпиталя. О коне он даже и не заикнулся.

Так Ганька неожиданно для себя оказался на чужой стороне. Маньчжурия давно влекла и манила его к себе. Его отец и дед часто посещали ее в прежние горы. Они привозили оттуда краснобокие яблоки, земляные орехи, сахар-леденец, кирпичный и байховый чай. У каждого состоятельного мунгаловца были рубашки из китайской чесучи и шелка, цветные кушаки и соломенные шляпы, одеяла с полосатыми тиграми и полотенца с чибисами. Не будь Ганька так потрясен войной и своими бедами, его обрадовала бы поездка за границу. Но теперь все это не тешило и не веселило.

Место для госпиталя было выбрано в безлюдной таежной глуши, на поляне, вблизи от шумной горной речки с русским названием — Быстрая. Сопки, тайга и даже надоедливые оводы были здесь такими же, как в Забайкалье. Поблизости не оказалось ни кабанов, ни тигров, о которых вдоволь наслышался Ганька еще с детских лет. В лесу было много пестрых рябчиков, никем не пуганных и доверчивых, как домашние голуби. В речке целыми косяками разгуливали ленки и хариусы, а в горах, на недоступных утесах, жили орлы, грелись на каменных россыпях змеи.

На просторной и живописной поляне, окруженной гигантскими лиственницами и тополями, сплошь усеянной оранжевыми огоньками и голубым курослепом, с утра закипела работа. Сняв с себя винтовки и патронташи, партизаны раскидывали большие брезентовые палатки, окапывали их канавами для стока воды, обкладывали дерном. Поодаль от палаток появился крытый корьем навес. Под ним, весь в кирпичной пыли и глине, складывал плиту уса-тый печник Ефим Полуэктов. Он покрикивал на своих немелых помощников — Ганьку и бурята Жолсарана Абидуева — и тут же шутя досадовал на свою участь:

— Мне еще холостому надоело с печами возиться. Думал, что хоть в партизанах буду воевать и жить в свое удовольствие. А тут опять в печники произвели, заставили в глине вымазаться.



К вечеру плита была готова. Повариха Ульяна затопила ее, и повеяло на поляне жилым духом, вкусно пахло варевом.

Первую ночь на новом месте Ганька провел в балагане, сделанном из бересты. У него не было ни потника, ни одеяла. Зато у Абидуева оказалась крытая засаленной далембой рваная шуба. Под ней и провели они, крепко прижимаясь друг к другу, теплую с вечера и холодную под утро ночь.

Назавтра справляли в палатках свое новоселье скрытно доставленные в госпиталь раненые, довольные тем, что кончились наконец мытарства и наступил долгожданный покой. Было их сто двадцать человек, молодых и старых, терпеливых и привередливых, веселых и безнадежно угрюмых. У одних дела шли на поправку, над другими печально качал своей белой головой доктор Карандаев. Слишком мало было в его распоряжении лекарств. Больше приходилось надеяться на собственные силы раненых. Не раз Ганька видел, как мутились от слез стекла докторского пенсне, когда кто-то тяжело расставался с жизнью на жестком топчане в палатке. А когда появился в тайге первый могильный холмик, Ганька не раз видел, как у него подолгу стоял погруженный в раздумье доктор.

К Карандаеву Ганька горячо привязался с первых же дней. Это был замечательный человек. С юношеских лет он вступил на путь борьбы с самодержавием. Восемь лет провел на Нерчинской каторге и на поселении в Баргузинском уезде. В восемнадцатом году, несмотря на преклонный возраст, пошел добровольцем в Красную гвардию. Был на Даурском фронте главным терапевтом, потом скрывался в одной из лесных коммун.

— Это человек идейный, — сказал о нем приискатель Семиколенко. — Он был еще студентом, когда впервые угодил в ссылку в нашу матушку Сибирь. Отсюда потом за границу махнул и там уже на доктора доучился. Я точно не знаю, но слышал от сведущих людей, что он будто самого Ленина встречал, работал с ним. А в пятому году вернулся в Россию, снова попал к жандармам в лапы и угодил в Горный Зерентуй на каторгу. Такого старика беречь да беречь надо. Он еще много людям пользы принесет. Это вам не Бянкин.

— В большевистской партии-то он состоит? — спросил у Семиколенко кто-то из раненых.

— Состоит или не состоит — про это я тебе не скажу. А только дышит он большевистским духом. Да оно иначе и быть не может, если человек Ленина непонаслышке знает...

Начальник госпиталя фельдшер Бянкин, бритоголовый, с двойным подбородком толстяк, назначил Ганьку в помощники к двум пожилым партизанам. Они должны были снабжать госпиталь дровами и рыбой. От сытой и привольной жизни у Ганьки снова округлились щеки, пропало в глазах выражение настороженности и тревоги.

Все обитатели госпиталя оказались на редкость интересными людьми. Это были казаки и крестьяне со всех концов Забайкалья, рабочие с приисков, бывшие политические каторжане и ссыльные. Много нужного и полезного в жизни узнал от них до всего любопытный подросток во время вечерних бесед у костра, куда собирались все, кто мог передвигаться. Он слушал там нескончаемые разговоры, скромно посиживая в сторонке; не привлекая к себе ничьего внимания.

Казаки-фронтовики, воевавшие с немцами и турками, любили рассказывать про Кавказ и Карпаты, про штурм Перемышля и Эрзерума, вспоминая добрым словом самых храбрых своих товарищей и хорошо относившихся к ним офицеров. Тут же заодно жалели, что не раскусили вовремя и не отправили на тот свет есаула Семенова, теперь белогвардейского атамана, а также его ближайших сподвижников баронов Унгерна и Тирбаха.

Приискатели чаще всего разговаривали о золоте. Скоро Ганька знал наперечет названия всех приисков на Унде и Газимуре, на Каре и Урюмкане. Он мог назвать все места, где были найдены за последние сорок лет самые богатые месторождения, перечислить деревни, жители которых мыли золото у себя во дворах и на огородах.

От батраков, работавших у караульских богачей скотоводов, Ганька узнал, что Южное Забайкалье представляет собой сплошные степи с невысокими голыми сопками и песчаными увалами. Зимой в степях почти не бывает снега. Круглый год скот пасется на подножном корму. А бывалые охотники из казаков-степняков хвастались, что совсем еще недавно заходили в Забайкалье из беспредельных

монгольских пустынь голубые антилопы и дикие ослы-куланы, пробегающие без отдыха десятки верст. Это так поразило Ганьку, что он долго потом мечтал раздобыть себе маленького кулана и летать на нем, как на сказочном коньке-горбунке.

Надолго запомнились ему необычайные похождения приискателя Семиколенко и Жалсарана Абидуева. Семиколенко, прежде чем попасть в Забайкалье, прожил шесть лет в Австралии, куда забрался в поисках лучшей доли с родной Украины. Собственными глазами видел он знаменитые бумеранги австралийских туземцев, охотился на кенгуру, рубил эвкалипты, мыл золото и пас овец. А Жолсаран был в молодости послушником в бурятском монастыре-дацане. Позже совершил паломничество в Лхассу, отрезанную от мира со всех сторон самыми высокими на земле горами. Многого, о чем он рассказывал, не знал даже доктор Карандаев, наиболее образованный в госпитале человек. Оказалось, в Тибете продавали за большие деньги как лекарство от многих болезней все, что извергал из себя организм святейшего далай-ламы. Долго потом дивились и судачили об этом раненые.

Однажды Ганька не вытерпел и вмешался в разговор взрослых. В тот вечер казак Андрей Чубатов рассказал, что во время войны побывал он в Турции и повидал Арат. Ганька верил, что был когда-то на свете всемирный потоп, от которого спасся один лишь Ной в своем ковчеге. Тогда он не выдержал соблазна и спросил, стоит ли еще на вершине святой горы Ноев ковчег.

— Ноев ковчег? — переспросил Чубатов и вдруг разразился безудержным смехом: — Эх ты, зеленая ягодка! Веришь, чудак, в поповскую брехню, а еще красный партизан. Пороть тебя некому...

Ганька с обидой и недоумением уставился на Чубатова. Но тут за него неожиданно вступился госпитальный печник и столяр Ефим Полуэктов. Он прикрикнул на Чубатова:

— Зря, казак, зубы над парнем скалишь! Ты и сам недалеко от него ушел. Тоже медный крест на ворота носишь.

— Это ты меня здорово поддел, товарищ Полуэктов, — согласился, краснея, Чубатов. — Верно, ношу я крестик. Только не медный, а серебряный. Мне его покойная мать на шею надела, когда на ту войну провожала. Не шибко я и

верю в него, а ношу. Вреда от него не будет, а насчет пользы не нам судить.

— Вот то-то и оно! — усмехнулся в усы Полуэктов. — Над парнем смеешься, а сам тоже с богом хитришь и двурушничает. Я тебя не осуждаю. Да и с какой стати осуждать буду, если я тоже вроде тебя. Как случится туго, так и вспоминаю про бога, слабость характера показываю. Под Убиенной вон все молитвы перечитал, какие только знаю.

На этом все бы и кончилось, если бы не Семиколенко, дюжий дядька в расстегнутой бязевой рубахе, с рукой на перевязи. Он презрительно бросил Полуэктову:

— Какой же ты после этого, Ефим, партизан? С оглядкой на господ бога свободу не завоюешь. Бог — он, как и попы, против свободы для бедных. Он за старые порядки стоит.

— Брось ты, Семиколенко, трепаться! — возмутился Полуэктов. — И как у тебя язык поворачивается такие слова говорить? Бог — он молчит, молчит, а потом возьмет да и все сразу припомнит.

На это Семиколенко с дерзким смешком ответил:

— Ничего не припомнит. Наказать ему меня никак невозможно.

— Это почему же?

— Потому, что его нет и сроду не было. Его на нашу беду попы да буржуи выдумали. Тысячи лет пугали богом нас, грешных, чтобы на нашей шее ездить.

— Ну, пошел молоть! — огорченно махнул рукой, раздувая усы, Полуэктов. — Слушать тебя тошно, безбожник ты этакий.

— Не любо, так не слушай. Никто тебя силком не принуждает. А только я голову наотрез дам, что бога нет. И никто мне не докажет, что я ошибаюсь.

Впервые в жизни Ганька видел человека, который не признавал бога и во всеуслышание заявлял об этом. От такого кощунства у него мороз пробежал по коже. С испугом и удивлением глядя на рыжего самоуверенного приискателя, он жалел его, как заведомо обрекающего себя на вечные муки в аду. Зажмурясь и содрогаясь, ждал он, что грянет гром и карающая молния испепелит несчастного безбожника. Но Семиколенко стоял как ни в чем не бывало и посмеивался, не испытывая ни страха, ни угрызения совести.

С тех пор Ганька с острым и жгучим любопытством приглядывался к Семиколенко, прислушивался к его словам. Непонятным и недобрым человеком казался ему добродушный и доброжелательный к людям здоровяк приискатель.

И когда Семиколенко поправился и уезжал в свой полк, Ганька даже не захотел к нему подойти и проститься.

3

Наступил август с обильными росами, с вечерними и утренними туманами. В тайге созревали ягоды, под каждым деревом вылезали из прошлогодней листвы грибы.

Ганьку и Гошку Пляскина, парня семнадцати лет, стали каждый день посылать за ягодами на кисели и морсы. Ребята не прочь были лазать по горам и бродить в тайге, но предпочитали разгуливать с ружьями, а не с берестяными лукошками в руках. Они спали и видели подстрелить дикую свинью или красавца изюбра, чей рев не раз слышали по ночам недалеко от палаток. Сбор же ягод оба считали не мужским, а бабьим делом. От этого собирались при первом же удобном случае сбежать в боевые партизанские части, оставив допекающему их приказами и поручениями завхозу язвительную записку. Но случая все не было, и им поневоле приходилось подчиняться строгому и требовательно-му завхозу, бывшему когда-то казачьим вахмистром.

В середине августа в госпиталь пробрался с русской стороны выучный транспорт с крупчаткой, сахаром и медикаментами. Его прислал из Нерчинского Завода Василий Андреевич Улыбин. С транспортом приехала молодая хорошенькая фельдшерица Антонина Степановна Олехминская. Гошка Пляскин влюбился в нее с первого же взгляда и перестал заговаривать о бегстве из госпиталя.

Взяв с Ганьки слово никому не выдавать его секретов, Гошка рассказал о своем увлечении. У него появилась неоценимая потребность делиться с приятелем еще не изведанными переживаниями, которые вызвало в нем появление фельдшерицы. В ней ему нравилось буквально все. Обладая даром красочных сравнений, он засыпал ими

Ганьку, едва речь заходила о глазах и косах, о голосе и походке ничего не подозревающей Антонины Степановны. Глаза ее Гошка мог мимоходом сравнить со спелой ягодой голубицей, тронутой нежным голубым налетом, а толстую светло-русую косу с веткой золотого под осень папоротника. Ганьку сладко разжигали и тревожили Гошкины излишества. По ночам ему начали сниться девушки с горячим и ласковым шепотом, с улыбками, от которых потом и наяву бросало его в жар и трепет.

Антонина Степановна не обращала на Гошку никакого внимания. У нее было достаточно взрослых поклонников, не имевших, впрочем, никакого успеха. Но Гошка оказался чудовищно ревнивым. Он ревновал ее даже к доктору Карандаеву. При каждой встрече с ней моментально краснел, обливался потом, терял способность соображать и разговаривать. Ганька сильно страдал за него. Он не понимал сердечных мук приятеля и, желая посмеяться над ним, частенько напевал ему из песни о Стеньке Разине:

Позади он слышит ропот;
Нас на бабу променял...

Поступал он так потому, что любил Гошку придирчиво и ревниво, гордился дружбой с ним. Все ему казалось необыкновенным в смуглом и курчавом, как молодой барашек, Гошке. Часто, сам не сознавая того, он подражал ему, старался во всем походить на него, хотя и понимал, что с Гошкой тягаться трудно.

Во-первых, Гошка был гармонист и песенник. У него была исключительная память, совершенный музыкальный слух. Слова и мелодию любой песни запоминал он с одного раза и наизусть помнил многие стихи Пушкина, Некрасова и Кольцова. При случае Гошка мог сочинить какую угодно частушку.

Во-вторых, отличался он отчаянной храбростью и непреклонным характером.

А в-третьих, у него была поразительная биография. Он родился в Александровском центре под Иркутском. Мать его была революционерка, осужденная на многолетнюю каторгу. Она умерла во время этапного пути в Забайкалье, в Мальцевскую женскую тюрьму, когда Гошке было десять месяцев от роду. Тогда его отдали в Горно-Зерентуйский тюремный приют. В семилетнем возрасте его усы-

новил арестантский фельдшер Пляскин. Гошка учился уже в гимназии, когда Пляскин умер, оставив ему в наследство свою фамилию да гармошку с колокольчиками. Бросив ученье, игрой на гармошке и зарабатывал парень себе на хлеб, шатаясь по казачьим станицам, где редкая вечерка или свадьба обходилась без него. В свободное время Гошка прочел все книги, какие нашлись в школьных библиотеках Олочинской и Аргунской станиц. Однажды он увидел у станичного атамана несколько годовых комплектов журнала «Летопись войны с Японией». Атаман очень дорожил ими и ни за что не соглашался дать хотя бы на один вечер. Тогда лихой гармонист проработал на атаманских пашнях всю страду, чтобы только на досуге иметь возможность читать хорошо иллюстрированный журнал, наполовину заполненный донесениями генерала Куропаткина на царское имя и длинными списками убитых и раненых русских офицеров.

— Неужели так задаром всю страду и проработал? — спросил, выслушав его рассказ, искренне изумленный Ганька.

— Даже ломаного гроша не заработал. Зато теперь столько о русско-японской войне знаю, что любого за пояс заткну. Хочешь, спроси меня, какие суда входили в состав Первой Тихоокеанской эскадры. Отвечу с закрытыми глазами. Входили броненосцы: «Ретвизан», «Цесаревич», «Петропавловск», «Севастополь» и «Полтава». Броненосные крейсера первого ранга: «Варяг», «Баян», «Аскольд», «Громобой», «Россия», «Рюрик» и «Паллада».

— Вот это да! — поразился Ганька. — А я только про один «Варяг» знаю. Хорошая песня о нем сложена.

Гошка тотчас же гордо выпрямился, вскинул высоко голову и запел:

Наверх, вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,
Пошады никто не желает.

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.
Готовьтесь к бою! Орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают...

Пел Гошка эти обжигающие сердце слова не так, как

все, а по-своему, вдохновенным, на лету родившимся ре- читативом. Ганька слушал с горящими глазами, любуясь его мгновенным перевоплощением из простого парня в ка- кого-то непреклонного витязя-матроса, вставшего над всей Россией в легендарном озарении трагической своей судьбы.

Пропев всю песню от начала до конца, Гошка спросил своим обычным голосом:

— Эту песню ты знаешь?

— Эту. Однако поешь ты ее как-то по-другому.

— Как нравится, так и пою. Свою душу вкладываю в каждое слово. С такой бы песней в бой идти, а не здесь про- хлаждаться...

Однажды страшно возбужденный Гошка прибежал к Ганьке на берег Быстрой и с места в карьер спросил:

— Ты знаешь, кто такая Антонина Степановна?

— Известно кто — фельдшерица.

— Ни черта ты, балда, не знаешь! Она член Коммуни- стической партии, вот кто! Ты бы послушал, как она сей- час с жирным Бянкиным разговаривала. Я совершенно случайно стал свидетелем этого разговора.

«Случайно! Как бы не так, — ухмыльнулся про себя Ганька. — Так я и поверил тебе».

А Гошка, отчаянно жестикулируя, продолжал:

— Идут они в лесу по тропинке, и этот жирный боров ей говорит: «Красивые глаза у вас, Антонина Степановна. Многим спать спокойно не дают». И знаешь, что она ему ответила? «Вы бы, говорит, поменьше глупостей болтали, а побольше о деле думали. Вы, говорит, товарищ Бянкин, не дачник, а начальник красного военного госпиталя. Больно спокойную жизнь себе здесь устроили. Поддались мирным настроениям и обывательскому благодушию. Интересуетесь красивыми глазами, когда надо госпиталем интере- соваться». Бянкин сразу сердито зафыркал и ударился в амбицию. «По какому, спрашивает, праву вы мне эту но- тацию читаете?» И знаешь, что она ему на это отрезала? «По праву, говорит, члена Российской Коммунистической партии. Надеюсь, говорит, вам известно, что эта партия возглавляет всю вооруженную борьбу рабочих и крестьян Забайкалья с угнетателями и палачами...» Как она это ска- зала, Бянкин даже поперхнулся, а потом заюлил лисой,

пошел извиняться да оправдываться. «Укажите, говорит, замеченные вами в госпитале недостатки...»

— И что же она ему ответила? — нетерпеливо перебил Ганька.

— А я дальше слушать не стал. Я так расстроился, что сразу побежал тебя разыскивать.

— Расстроился? С чего же это?

— Еще спрашиваешь! Тебе же ясно сказано, что она коммунистка.

— Ну и что же такого?

— Не глядела она на меня и глядеть не будет. Знаю я, какие это люди. Главное у них в жизни — революции делать. Они на виселицу идут, на расстрел, а таких дураков, как я, в упор не видят. Не этим у них голова занята... Я ей долго письмо в стихах сочинял, на днях отправить собирался, как какой-нибудь попohne или гимназисточке с томными глазками. Влип бы я со своим посланием. Места бы потом от стыда не нашел.

— Что-то непонятно ты говоришь.

— Дураку не понятно, умному ясно... Буду я теперь глядеть на Антонину Степановну другими глазами. На свою любовь крест поставлю. Таких, как она, надо уважать, а не с глупостями соваться... Ну, все! Хватит об этом. Я пошел на кухню картошку чистить. О нашем разговоре никому ни слова...

По утрам все вокруг госпиталя тонуло в непроглядном молочном тумане. Неподвижно висел он с вечера над камышами и травами, путался в ветвях тополей и лиственниц. С первыми лучами солнца туман приходил в движение. Клубясь и морось мельчайшими каплями влаги, отрывался он от земли и полз вверх по горным склонам. Скоро сплошная масса его разрывалась на отдельные полосы, уже не белые, а голубые. Достигая зубчатых горных вершин, полосы делались совсем узкими и прозрачными. Последние клочья их, подхваченные воздушным потоком, мгновенно исчезали из глаз, растворяясь в утренней синеве.

В одно утро Ганьку и Гошку разбудила по просьбе завхоза дежурная по госпиталю Антонина Степановна. Они должны были идти в верховья Быстрой на разведку брусничных ягодников. Завхоз собирался сделать запасы брусники на зиму.

Было туманно, сыро и холодно. Спросонья прони-мала

противная дрожь. Отчаянно зевая, ребята прихватили с собой берданки и вылезли из балагана. Над сизой от росы травой стлался туман. У палаток едва тлел костер. Возле него сидели и дремали двое часовых в брезентовых дождевиках с поднятыми капюшонами. Они даже не пошевелились, когда ребята проходили мимо. Гошка решил пошутить над ними. Подражая голосу начальника охраны, он грозно рявкнул:

— На посту спите, мерзавцы!.. Закачу вам по три наряда вне очереди, так будете знать!

Часовые испуганно вскочили, но, узнав Гошку, успокоились и напустились на него с руганью:

— Ты чего пугаешь, холера? Нашелся тоже начальник. В морду захотел получить? Шатаешься ни свет ни заря да еще орешь. Так весь госпиталь разбудишь.

— Ну-ну, полегче на поворотах! Вас что, вместо чучел тут поставили? Так всех под монастырь подведете. Вернусь из лесу, обязательно Бянкину расскажу, как на часах стоите.

— Докладывай сколько душе угодно. Бянкин нам не указ, у нас свой начальник. А потом, кого здесь опасаться? Волков и тех не слышно. Давай лучше проваливай.

Мрачный лес был обложен, как ватой, сырым непроглядным туманом. Ребята шли по чуть приметной тропинке, боясь потерять друг друга. Всякий неосторожно задевший куст обливал их с головы до ног холодной росой. Гошка шагал и раздраженно жаловался на завхоза:

— И до чего же вредный мужик!.. Сам храпит сейчас во все завертки, а нас заставил чуть свет поднять. Знает, лысый черт, кому меня легче всего разбудить. Он бы со мной до седьмого пота возился, а перед Антониной Степановной мне стыдно куражиться. Надо ему какую-нибудь пакость подстроить, чтобы всю жизнь помнил.

— Ну его к лешему! — махнул рукой Ганька. — Свяжись с ним, так он совсем заездит... А вот про то, что часовые у нас спят, об этом ты обязательно Бянкину расскажи. Это до добра не доведет...

Не успели они отойти и трех верст, как в расположении госпиталя началась стрельба. Трижды гроыхнули четко сколоченные залпы, гулко рванули гранаты, потом всплеснулось злое многоголосое «ура».

Ребята в замешательстве остановились, и лица их стали белее тумана. Было ясно, что случилось что-то страшное.

— Ну, Ганька, кажется, вовремя разбудила нас Антонина Степановна, — стуча зубами, сказал Гошка. Перепуганный Ганька невольно перекрестился.

— Что теперь делать будем?

— А ты не знаешь? Назад побежим, вот что!

— Убьют нас там. Что мы двое сделаем? Давай лучше подождем.

— Здорово рассуждает! — презрительно бросил Гошка. — Там наши погибают, а мы в кустах отсиживаться будем. Да какие же мы после этого большевики! Свою шкуру спасем, а как потом людям в глаза глядеть будем? Нет, раз выпала нам такая судьба — айда назад, там посмотрим...

— Тогда пошли! — вздохнул Ганька. — Только давай поосторожней.

— Ладно, без тебя знаю. Ты лучше берданку заряди и держи на изготовку. Не ворон пугать идем.

Пока они бежали к госпиталю, там утихли выстрелы и крики, но запылали палатки, кухня и заготовленные для строительства землянок корье и береста. Еще не видя огня, Ганька и Гошка услышали, как металось и трещало пламя, словно ломившийся сквозь чащу матерый зверь.

Продвигаясь перебежками от дерева к дереву, скоро увидели сквозь поредевший туман густой и черный дым. Он вспухал и клубился, вставал над лесом, как огромный гриб. Вдруг дохнуло сильным жаром, и они увидели яростно гудевший огонь. Они упали в мокрую траву и поползли к поляне, с которой разогнало жаром весь туман.

По поляне бегали в суете и спешке люди с желтыми лампасами на штанах. Их было очень много, и готовые стрелять в них ребята обречали себя на верную гибель. Спасло их то, что в самый последний момент они наткнулись на раненого из госпиталя. Это был казак Андрей Чубатов, высмеявший Ганьку за глупый вопрос о ковчеге. Он притаился в яме от поваленного дерева. Узнав, Чубатов тихо окликнул их:

— Вы это куда, дураки? Жить вам надосло? Вон их сколько, гадов-то. Недолго с ними из ваших пукалок на воюешь. Раз уцелели, сидите и не рыпайтесь.

— Катись-ка ты, Чубатов, знаешь куда! — огрызнулся

Гошка. — Раз пришел наш черед, умрем, а труса праздновать не будем. Записались мы в партизаны не ягоды собирать, а за свободу драться... Давай, Ганька, выцеливай какого-нибудь офицера, я не отстану. Хоть по одному да ухлопаем.

Тогда Чубатов с проворством, какого и нельзя было предполагать, выхватил у Гошки из рук берданку и приказал:

— Лежи, сопляк, и не рыпайся! Не то морду набью. То же герой мне выискался. Без пользы пропасть всякий болван сумеет. Дело не мудреное... Этим сволочам мы отомстим, да только не теперь. Это какие-то дружинники. Надо их нам во что бы то ни стало опознать. Мы потом про них нашим сообщить должны, чтобы не было им пощады.

— Так бы и сказал, чем ругаться, — проворчал, сдаваясь, Гошка и тут же потребовал: — Отдай берданку. Стрелять не буду, не бойся.

— Ладно, без нее полежишь, свиная горячка. Это тебе не гармошка с колокольчиками. Она и выстрелить может в дурных руках.

Немного помолчав, Чубатов, бывший в одном нижнем белье, спросил:

— Как же это вы, ребяташки, уцелели? Я думал, всем конец пришел.

— Ягодники искать ходили, — сказал Ганька, видя, что Гошка отвечать не собирается. — Спасибо фельдшернице — сама, гляди, так пропала, а нас спасла. — И он неожиданно всхлипнул.

Гошка тотчас же накинулся на него:

— Ты, Улыбин, нюни не распускай. И без того тошно.

Ганька ничего ему не ответил и отвернулся.

Чубатов, неотрывно следя за дружинниками все примечаящими глазами, торопливо выкладывал:

— А я совсем случайно спасся. Прямо на дикого рассказ. Захотелось мне до ветру сходить. Раньше я это дело у самой палатки справлял. А тут накануне нас завхоз как следует пробрал. Вспомнил я его проборку и поблизости присесть постеснялся, в кусты поковылял.

Только стал, понимаешь, цветки считать, как вон с той стороны, с севера, значит, и залпанули. Я тогда упал и все ползком да ползком, досюда вот и добрался... Проспали наши охранители, хоть новая фельдшерница не раз их преду-

преждала, с начальником ругалась. Всех искололи и порубали. Вот вам и заграница! Думали, здесь нас ни одна собака не унюхает. Жрали да дрыхнули...

— Глядите, глядите! — приглушенно вскрикнул Ганька, показывая на поляну. — Что это дружинники делать собираются?

На дальнем конце поляны, под раскидистой лиственницей, на которой Ганька и Гошка вырезали недавно на память свои инициалы, творилось что-то непонятное. Но Чубатов пригляделся и определил:

— Если не видели, как людей вешают, сейчас увидите. Это они петли к сучьям привязывают. Значит, кто-то живьем к ним в лапы угодил... Глядите и запоминайте, все как есть запоминайте! Будет срок — за все нам ответят.

Толпа дружинников под лиственницей, сверкая на солнце шашками и штыками, раздалась в стороны, и два человека в белое закачались в петлях.

— Эх, пулемет бы сейчас! Уж я бы их резанул, проклятых, — прохрипел, трясаясь всем телом, Чубатов.

У Ганьки потемнело в глазах, больно кольнуло в груди. Гошка судорожно сжимал в руках ветку усеянного колючками шиповника, не замечая на пальцах крови.

На поляну, освещенную первыми лучами солнца, вдруг хлынули из леса коноводы с целым табуном разномастных лошадей. Звеня стременами и шашками, дружинники разобрали их и стали садиться в седла. Затем раздалась команда строиться.

— Сотни две их, не меньше, — определил Чубатов. — А командира ихнего я, похоже, узнал. Сдается мне, что это есаул Рысаков. Он у нас во Втором Аргунском на турецком фронте сотенным командиром был. Такая собака, что не приведи господь. Вишь, он, гад, перед строем гарцует. Ну, доведись мне теперь попасть на его родину, я всю его собачью родову на распыл пушу... Хотя, может, это и не он. Не разгляжу я ничего путем.

Едва дружинники покинули поляну, как ребята сразу же хотели бежать туда, но Чубатов остановил их:

— Подождите, не торопитесь. Тут спешить не к чему. Они могли и засаду оставить, если знают, что не всех перебили. Давайте еще малость повременим, пооглядимся.

Только в полдень, сделав предварительную разведку, вышли на поляну, залитую ярким светом, налитанную за-

пахом разогретых трав и цветов. Незабываемое зрелище представилось их глазам. Как обычно, вились над голубыми лютиками и белыми ромашками пестрые бабочки, мирно трещали в траве кузнечики. Но там, где стояли палатки, лежали скрюченные обгорелые трупы раненых. А по всей поляне валялись обезглавленные бойцы взвода охраны. Бородатый могучий завхоз в рыжих стоптанных ичи-гах лежал с бутылочной гранатой в руке. Отрубленная голова его, лысая на макушке, уставилась в небо широко раскрытыми стеклянными глазами. По медно-красному лицу разгуливали желтобрюхие оводы.

«Эх, Евсей, Евсей! — вздохнул, глядя на труп завхоза, Чубатов. — Подковы руками ломал, из медных пятак пельмени делал, а шашкой березы толщиной в оглоблю с одного раза срубал. Не было сильнее его у нас в полку. А тут даже гранаты метнуть не успел...»

У Ганьки кружилась голова, тошнота подступала к горлу. Чувствуя, что больше не в силах стоять и смотреть на обгорелые трупы, он бросился в кусты на закрайке леса. Там наткнулся еще на один труп. Это была повариха Ульяна, чернобровая красавица казачка, о которой вздыхал украдкой не один молодой партизан. Ее уташили в кусты и после зверского надругательства убили. В искаженный нечеловеческой мукой рот была воткнута суковатая палка. У Ганьки земля поплыла из-под ног. Он вскрикнул сдавленным голосом, упал и безутешно заплакал.

Его разыскал в кустах Гошка, поднял с земли и повел к лиственнице с повешенными. Там уже дожидался их Чубатов. Еще издали Ганька узнал в повешенных доктора Карандаева и Ефима Полуэктова.

Чубатов взял у Гошки нож, вытянулся во весь свой небольшой рост и обрезал веревку над головой Карандаева. Холодного и непомерно длинного доктора Гошка подхватил на руки, бережно уложил на притоптанную траву. Потом, глядя вокруг себя затуманенными глазами, строго и горестно сказал:

— Вот какого человека не сберегли! Буду мстить за него, пока самого не убьют.

Рядом с доктором уложили и Ефима Полуэктова неграмотного дучарского мужика, умевшего одинаково хорошо столярничать и плотничать, складывать печи и шить сапоги, крепко верить в бога и горячо ненавидеть своего

дучарского попа, по милости которого был он арестован карателями, как «сочувственник красных», и беспощадно выпорот плетями на крыльце волостного правления.

Чубатов с помощью костыля тяжело опустился на колени, поцеловал Карандаева в суровое, даже страшной смертью не искаженное лицо и сказал:

— Прощай, доктор! Никогда не забуду тебя, дорогой человек. Добрая была у тебя душа. Для каждого из нас находил ты время, с каждым возился, как с родным, пока не ставил на ноги. Прости нас, старик, и прощай!..

Потом он поцеловал усатого печника с повернутой набок головой, с вытянутыми вдоль туловища руками в неистребимых мозолях и попенял ему.

— Эх ты, Ефим, Ефим!.. Сапоги-то мне так и не сшил. Не носить мне их теперь. Буду в Дучаре — расскажу твоей старухе, как погиб ты, наш мастер на все руки...

Ганька, увидев на заросшей седым курчавым волосом груди Полуэктова медный крестик на длинном гайтане, с горечью подумал: «Вот и крестик не помог тебе, дядя Ефим. Выходит, правду говорят — на бога надейся, а сам не плошай».

Поднявшись на ноги, Чубатов вытер рукавом изодранной в клочья исподней рубашки мокрые от слез щеки, глухо сказал:

— Ну, хватит горевать, ребята! Некогда нам этим заниматься. Придется вам в бакалейки идти, Димова искать. Пусть приезжает с китайскими огородниками хоронить друзей-товарищей.

Михаил Димов, бывший председатель Нерчинско-Заводского уездного совдепа, жил за границей в качестве официального представителя партизан. Сын кузнеца, был он грамотей-самоучка. Девятилетним парнем был он принят в члены Российской социал-демократической рабочей партии. В то время партия имела в районе Нерчинской каторги строго законспирированную подпольную организацию. Эта организация устраивала побег с каторги своим товарищам. Все члены ее находились на службе в частных фирмах и учреждениях, не вызывающих подозрения, и имели возможность совершать частые поездки по Нерчинскому округу.

Михаилу Димову порекомендовали для этой цели наняться агентом по распространению швейных зингеров-

ских машин. Должность разъездного агента компании, находившейся под особым покровительством царя и царицы, вполне его устраивала. В любое время беспрепятственно посещал он Горный Зерентуй и Кутомару, Кадаю и Алгачи, продавая тюремному начальству на самых льготных условиях свой товар и связываясь с необходимыми ему людьми.

Немало дерзких и смелых побегов с каторги организовали после 1905 года Димов и его товарищи, служившие землеустроителями, инженерами горного ведомства и даже инспекторами народных училищ.

Но однажды Димов обнаружил, что зингеровская фирма требует от него сведений, не имеющих никакого отношения к торговле швейными машинами. И тогда перед ним и перед его организацией встал вопрос, как поступить в таком щекотливом случае. Было решено, что он немедленно оставит свою службу и о мотивах этого решения письменно сообщит члену Государственной думы от Забайкальской области социал-демократу учителю Горбунову. Горбунов при первом же удобном случае не без злорадства познакомил с содержанием письма Забайкальского губернатора генерала Кияшко.

Вскоре Димова вызвал к себе начальник жандармского управления области, поблагодарил за патриотическое рвение и вежливо предложил не соваться не в свои дела. В заключение почему-то намекнул, что мечтал повстречаться с Димовым совсем при других обстоятельствах.

Немедленно после этого Димов укатил в Петроград, устроился там рабочим на Путиловский завод. Проработал на нем около года. А там началась война с Германией, его призвали в армию и отправили на фронт. В начале восемнадцатого года Димов вернулся в Нерчинский Завод и был выбран председателем уездного совдепа.

Служба в зингеровской компании помогла ему в свое время завязать обширные знакомства среди русского и китайского пограничного населения. Это и послужило одной из причин назначения его красным консулом. Постоянным его местопребыванием были бакалейки. Но он нередко навещался и в госпиталь. Каждый его приезд был большим событием для раненых. От него они узнавали самые последние новости обо всем, что творилось в Забайкалье, на Дальнем Востоке и даже в Советской России.

Из его бесед с ранеными Ганька узнал, что вся необъятная Россия полыхала в тот год в огне небывалой войны. Молодая Красная Армия дралась с белогвардейскими полчищами Колчака, Юденича и Деникина, с войсками четырнадцати капиталистических держав. Обстановка на фронтах менялась каждый день, и Димов привозил то хорошие, то дурные вести.

Однажды Димов рассказал по чьей-то просьбе о своей прежней жизни. И здесь Ганька впервые узнал, чем занимался на самом деле Димов, не раз бывавший до революции и у них в Мунгаловском. Поведал Димов и о несомненной шпионской деятельности представителей Зингера и это вызвало больше всего разговоров в госпитале.

— Теперь понятно, почему нас немцы били, — возмущались бывшие фронтовики. — Вон у них как дело было поставлено. Везде распустили свои паучьи щупальца. Никогда бы и не подумал, что даже в нашей дыре, на краю России, про все старались разнюхать эти мерзавцы. И все им с рук сходило.

— Чего же тут удивительного? — говорили другие. — Царица была чистокровной немкой, царь — полунемцем. Вот и командовали у них не только армиями и корпусами, а даже полками и сотнями всякие фон-бароны. У нас в Первой Забайкальской казачьей дивизии были бароны Врангель, Унгерн, Тирбах и всякие энквисты и энгельгардты. Гнали они нашего брата на убой, как баранов. Лезли мы на пулеметы с одними шашками и умывались собственной кровью...

После этой памятной беседы с Димовым Ганька сказал Гошке:

— Не знал я, что Димов такой. Ловко обводил он вокруг пальца царских начальников. Голова мужик!

— Конечно, ты этого и во сне не видел. А я про него еще прежде догадывался, что это не простой человек. Когда мой отчим еще в Горном Зерентуе служил, Димов частенько к нему наезжал. Приедет, водки привезет, подпоит отчима и начинает у него выпрашивать про тюрьму все досконально. Да я про него и не это знаю.

— Да ну? Расскажи, будь другом, что знаешь.

— Если хочешь знать, я сам однажды у него за посыльного был. Ходил из Завода в Горный Зерентуй с его письмом. Передал его кому полагалось, а потом произошел та-

кой побег оттуда, что сразу семь человек скрылись среди ясного дня — как в воду канули.

— Выдумываешь ты все! — не поверил Ганька. — Ты же тогда маленький был.

— Ничего не маленький! Было мне уже двенадцать лет. Если не веришь, возьми да и спроси у Димова — правду я говорю или брехней занимаюсь.

Но расспрашивать Димова об этом Ганька постеснялся, хотя и не раз разговаривал с ним про Василия Андреевича и Романа, которого Димов считал своим спасителем. Роман и покойный мунгаловский фронтовик Тимофей Косых спасли его от расправы пьяных кулаков во время митинга мобилизованных в восемнадцатом году, и Ганьке было приятно, что Димов помнил об этом.

4

Оставив Чубатова в разгромленном госпитале, Ганька и Гошка отправились в бакалейки. Боясь нарваться врасплох на дружинников, ожидающих, возможно, ночи, чтобы уйти незамеченными на свою сторону, шли с большими предосторожностями. Часто сворачивали с дороги и пробирались по заваленному буреломом лесу. В лесу причудливо чередовались свет и тени, стояла первобытная тишина. Пахло древесной гнилью, прелыми листьями и грибами. То и дело попадались под ноги целые семьи груздей, маслят и обабков. На влажных прогалинах краснели россыпи брусники и крупной, как дикий маньчжурский виноград, голубицы, хорошо утолявшей жажду. Все это добро пропадало без всякой пользы.

Пройдя половину пути, ребята так устали, что устроили короткий привал. Развели под столетней лиственницей небольшой костер. Пока жарили на углях нанизанные на прутья и посыпанные солью обабки, озабоченно разговаривали.

— Как ты думаешь, уцелел кто-нибудь, кроме нас? — спросил Ганька.

— Кто ж его знает, — вздохнул Гошка. — Не видал я среди убитых только Бянкина с Антониной Степановной. А спаслись они или нет — остается лишь гадать.

— Да ведь Бянкин вчера с Жолсараном Абидуевым в бакалейки уехал! — вспомнил вдруг Ганька. — Я своими глазами видел, как они уезжали. И как я забыл об этом?

— Тогда они уцелели, если в дороге не нарвались на дружинников. Антонина Степановна тоже могла спастись. Она не спала. Если не угодила сразу под пулю, обязательно в лес убежала. Никак я не могу поверить, что она могла так глупо пропасть.

— Вернемся назад — надо ее обязательно поискать. Может затаилась в чаще и выйти к госпиталю боится...

Когда вышли из большого леса, попали в неширокий распадок. Распадок отлого спускался на запад, к Аргуни. Обращенные к югу склоны его были в буйных зарослях высоких и курчавых кустов, сплошь усеянных какими-то зелеными шишками.

— Что это за кусты? — поинтересовался Ганька. — Я еще не видал таких.

— Это орешник. Ух и орехов нынче на нем! За день десять кулей нарвать можно. — Гошка подошел к одному кусту, сорвал несколько зеленых, похожих на удивительные розетки шишек и подал их Ганьке: — Возьми вот да попробуй хоть один орех выковырять из такой упаковки.

Ганька принялся терзать зубчатую, с острым и терпким запахом шишку иа крепких, туго сросшихся листьев. С помощью ногтей и зубов кое-как выковырял три круглых ореха.

— Вот это да! Самые настоящие маньчжурские орехи! Я думал, что они голенькие на ветках висят, а они вон в какие корзины упрятаны. Все ногти оборвешь, пока их выколупашь.

— Это они сперва такие крепкие. А полежат на солнце, высохнут, и шишки сами развалятся. Тогда их только знай отсеивай да насыпай орехи в мешки... Эх, с удовольствием пожил бы я здесь с недельку, если бы жизнь другая была!..

Нарвав полные карманы орехов, ребята стали спускаться вниз по распадку. И тут неожиданно увидели распряженную китайскую двуколку с задранными вверх оглоблями. На оглоблях была растянута пестрая холстина. Под ней виднелась горка недавно собранных орехов.

— Какие-то китайцы орехи промышляют. Надо их расспросить, не видели ли дружинников, — сказал Гошка. — Давай подойдем поближе к двуколке.

Когда подошли поближе, Ганька заметил лежавшего в траве китайца в синей дакембовой куртке с засученными рукавами.

— Нароботался и отдыхает, — определил он.

Но Гошка пригляделся, испуганно вздрогнул и вскинул на руку берданку.

— Ты чего это? — шепотом спросил Ганька.

— Китаец-то не отдыхает. Приглядишься-ка получше, ведь он без головы. Что-то тут неладно. Так и знай, что это дружинники свой след заматают. Наткнулись на беднягу и зарубили. Вот это гады так гады! Давай уходить отсюда...

В бакалейках еще ничего не знали о случившемся.

Димов и Бянкин ушли по каким-то делам к китайскому начальству. Димовский ординарец и Жолсаран Абидуев ждали их возвращения в фанзе консульства, играя в шашки.

Гошка выпил из стоявшей в сенях кадлушки ковш холодной воды, отдышался и спросил ординарца:

— Где товарищ Димов?.. Сейчас же беги за ним. У нас страшная беда. Всех наших белые прикончили. — И он обессиленно опустился на лавку.

Ординарец, ни о чем больше не спросив, схватил фуражку, побежал разыскивать Димова и Бянкина. Жолсаран, обхватив голову руками, метался по комнате и горько причитал:

— Карандаева жалко, Ефима жалко!.. Всех, всех жалко! Зачем наши проспали? Зачем ничего не слышали?..

А ребята сидели и нетерпеливо дожидались Димова, чтобы рассказать ему обо всем, разделить ту тяжесть, от которой мутился их разум, разрывались сердца.

Димов и Бянкин пришли запыхавшиеся, с мокрыми от пота, расстроенными лицами. Смуглый Димов еще больше почернел. У Бянкина тряслись руки и ноги. Он запаленно дышал и часто хватался рукой за сердце.

Выслушав все, что рассказали ребята, Димов подбежал к Бянкину, схватил его за шиворот, с диким бешенством закричал:

— Это ты во всем виноват, паразит! Сколько раз я тебе говорил, чтобы усилил охрану, выставлял посты и секреты, а ты... Ты вместо этого на Олекминскую жаловался, что житья не дает, авторитет твой подрывает... Сам ухит-

рился уехать, а их оставил. Что это, случайное совпадение или злой умысел? Уж не знал ли ты заранее, что произойдет сегодня ночью в госпитале.

— Вот как! — хрипло рявкнул Бянкин. — Значит, я, по-твоему, предатель? Ну, это ты брось, товарищ Димов! Ты великолепно знаешь, почему я оказался здесь именно вчера вечером. Сам вызвал меня на вчерашнее число. Или теперь предпочтешь забыть об этом? — Голос Бянкина, сперва испуганный и хриплый, делался все более твердым и спокойным. Он оторвал от своего горла руку Димова и, наступая на него, продолжал: — Я виноват во многом. От своей вины не открещиваюсь. Готов за нее под расстрел хоть сейчас. Но я отвечал не за охрану госпиталя, а за его работу. Начальник охраны мне не подчинялся. На эту ненормальность я не раз указывал, а ты... Ты же только уговаривал начальника, когда мог ему приказать.

— Ладно! Погорячился я, — сказал Димов. — Отвечать за все будем оба. От своей вины я тоже не откажусь. А без трибунала здесь дело не обойдется. Даже подумать страшно, что мы наделали, сколько погубили людей.

— И что же теперь будем делать?

— Похороним убитых, пошлем донесение в штаб и будем ждать, когда прикажут нам явиться в трибунал для ответа. Но это не все, что от нас требуется. Мы обязаны распутать все это дело до конца. Я не сомневаюсь, что нас предали. Выдали белым расположение госпиталя какие-то тайные враги. Надо сделать все, чтобы узнать, какие это были дружинники, найти предателей и покарать их всех именем революции.

— Вдруг это не русские, а китайцы предали?

— Вполне возможно, что и так. Тогда наше дело — указать на них китайским властям. Покарать их сумеют и без нас, если не власти, то сочувствующий нам китайский народ.

...Назавтра, когда над далекими сопками русского берега пылала вечерняя огненно-красная заря, хоронили убитых. Половину поляны заняла вырытая китайскими огородниками огромная могила.

В семерках вырос над могилой невысокий, смутно желтеющий холм. Опираясь на заступы и лопаты, неподвижно замерли возле него шестеро русских, один бурят и молчаливые, благоговейно скорбные китайцы.

Низко поклонившись китайцам, поблагодарил их за участие в похоронах неузнаваемо изменившийся Димов. Это был уже не прежний немного рыхлый и одутловатый человек. Горе, словно резцом, обточило его лицо, заставило наперекор всему держаться прямой и тверже.

Весь следующий день искали в тайге Антонину Степановну, но не нашли ее следов.

Ночью, возвратясь с бакалейки, Ганька и Гошка распрощались с Димовым и Бянкиным. Жолсаран Абидуев переправил ребят на русскую сторону. Они шли с устным донесением Димова в партизанскую станицу — Богдаты. Путь им предстоял далекий и опасный. Надо было пройти пешком двести верст по диким таежным дебрям, где вместо дорог были лишь одни вьючные тропы. На каждом шагу там можно было встретить и хищного зверя, и рыскавших повсюду семеновцев.

Восход солнца застал их на перевале одного из высочайших во всем Приаргунье хребтов. С хребта открывался необъятный, щемящий сердце простор. Они остановились и стали смотреть в ту сторону, откуда шли всю ночь.

Нестерпимо сияла далеко внизу серебряная лента Аргуни. А за ней, уходя в бесконечную даль, величаво синели маньчжурские сопки, и не было им ни конца ни края. Среди них была почти не заметна заросшая лесом сопка, у подножья которой горюнилась одинокая братская могила.

Не подняться, не покинуть этой тесной могилы в чужой земле ни одному зарытому в ней партизану. Никто никогда не увидит их больше в родном краю. Не придется им ни пахать, ни сеять, ни биться с врагами, ни любоваться на жен и детей. Только Ганька и Гошка, если суждена им долгая жизнь, расскажут о них товарищам и друзьям. Только они сохранят их в памяти такими, какими настигла их гибель в ранний утренний час. Навеки запечатлела потрясенная память ребят молодых молодыми, стариков стариками. Ничего она не прибавит и не отнимет ни у добрых и храбрых, ни у злых и робевших в бою.

С каждым из них мысленно распрощались ребята, томимые строгой и острой печалью. Свежий горный ветер смахнул набежавшие на ресницы слезы, и пошли они своим путем туда, где расстился под синим небом зеленый океан тайги, где ждала их суровая, как и прежде, жизнь.

В тридцати верстах от Богдаты, на исходе седьмого дня, Ганька и Гошка были задержаны партизанским разъездом. С клинками наголо окружили их на лесной дороге всадники с красными лентами на защитного цвета фуражках.

— Здравствуйте, товарищи! — не обращая внимания на занесенные над ними клинки, поздоровался с бравыми, строго настроенными бойцами Ганька, а Гошка деловито осведомился:

— Какого полка, товарищи?

Он не сомневался, что ему ответят, и был крайне обескуражен, когда командир разъезда, черноусый и щеголеватый здоровяк в синих галифе и кожаной куртке, расхохотался:

— Больно много захотел! Ты, я вижу, ухарь! А ну, давай твою пушку!

— Не отдадим берданки! — вмешался Ганька. — Мы, ведь, товарищи, тоже партизаны. Мы ведь из-за границы, из нашего госпиталя идем.

— Из госпиталя? Да еще из заграничного? — переспросил командир и вдруг сердито обрезал: — Не слыхал о таком!.. А документы есть? Нет документов? Тогда лучше помалкивайте. На лбу у вас не написано, кто вы такие. Может, вас белые подослали. Проводим в штаб, там разберутся, что с вами делать — выпороть или на распыл пустить...

Ребят обезоружили, обыскали, и командир приказал молодым бойцам доставить их в Богдату, а с остальными поехал дальше.

В ближайшей деревне конвоиры мобилизовали подводу, усадили на нее задержанных и приказали хромому, с курчавой бородкой и синими умными глазами, вознице не жалеть кнута для своей пузатой и низкорослой кобылицы со сбитой спиной.

Сразу же за последними домами деревни началась тайга. Она то вплотную подступала к дороге, то отступала на склоны крутых и высоких сопок, образуя обширные поляны, усеянные валежником и черными пнями или сметанным в стога и зароды сеном. На макушках многих стогов сидели и наблюдали за всем происходящим вокруг то ворон, то коршун, то ястреб-тетеревятник.

Старший конвоир — парень с жесткими глазами на скуластом и смуглом лице, — опасаясь, что задержанные могут сбежать, распорядился связать им руки и усадить на телеге спиной друг к другу. Более опытный Гошка дал связать себя беспрекословно, но Ганька начал на свою беду шумно протестовать. Тогда старший, не говоря ни слова, ткнул его кулаком прямо в зубы. От неожиданности Ганька резко дернулся назад, больно ударился затылком о затылок Гошки и, не помня себя от обиды, рвущимся голосом крикнул старшему:

— Ну и сволочь же ты!

Поотставший было от телеги старший снова подъехал к Ганьке и, сверля его тяжелым, полным страшной ненависти взглядом, пригрозил:

— Ты сволочить меня не смей! Не то живо без головы останешься. Убить тебя мне — раз плюнуть.

От его иступленного бешенства Ганьке стало не по себе, но он решил не сдаваться. Распаленный зуботычиной, он презрительно бросил старшему:

— Дурак ты после этого! Видишь, что сдачи не дадут, и издеваешься. Расскажу я дяде и брату, как ты избил меня, так они тебе покажут. Они с твоей морды коготь снимут, блондина из тебя сделают. И как тебя в партизаны примяли? Тебе бы с такими замашками в каратели к Семенову...

— Замолчи, не то ребра пересчитаю! — замахнулся на него с нагайкой старший. — Родней меня не пугай, шпиен японский!

— Не шпиен, а шпион! — поправил его Ганька. — Правильно слова сказать не умеешь, а корчишь из себя Малюту Скуратова. Слышал про такого?

— Стой! — приказал тогда старший вознице и стал срывать с себя карабин. Ганька побледнел, но презрительно усмехнулся. Гошка решил прийти к нему на помощь и закричал остальным конвоирам:

— Товарищи! Не давайте ему убивать Ганьку. У Ганьки и дядя и брат в партизанах. Один — правая рука у Журавлева, а другой сотней в Первом полку командует. Правду я говорю. Пожалеете, если убить его дадите.

Тогда один из конвоиров, невозмутимо спокойный парень с круглым лоснящимся лицом, на котором все время блуждала добродушная усмешка, прикрикнул на старшего:

— Брось ты, Ермошка, шепериться. Надоел хуже горь-

кой редьки. Ребята, похоже, свои, а ты из кожи вон лезешь. Нагорит тебе за это.

— Пускай нагорает! На расстрел пойду, а этого сопляка ухлопаю, чтобы не гавкал тут.

— Попробуй только! — с неожиданной твердостью в голосе заявил круглолицый. — Не успеешь в него и палнуть, как я тебе башку снесу. Нечего дурака валять. Ты свою злость на белых срывай, а не на этом парне.

— Ты не учи меня, Белокопытов! — огрызнулся Ермошка. — Ты партизан-то без году неделя. Ты на готовенькое пришел, а мы с первого дня воюем... А этого щенка я все равно ухлопаю, он у меня живым до Богдаты не доедет, — он вскинул на Ганьку карабин.

Белокопытов не растерялся, ударил по карабину снизу вверх, а потом вцепился в Ермошку и с силой рванул его на себя. Ганька видел, как выскользнула из стремени правая нога Ермошки и поднялась вровень с седлом, а сам он беспомощно повалился с коня на левую сторону, выронив из рук карабин. Но упасть ему Белокопытов не дал. Показав, что с ним шутки плохи, он помог ему удержаться в седле. Потом отпустил его, быстро нагнулся с коня чуть не до земли и поднял упавший в траву карабин. Все это было сделано так легко и лихо, что Ганька преисполнился уважения к Белокопытову и сразу решил про него, что это казак.

Белокопытов разрядил карабин и протянул его Ермошке:

— На, держи, да не балуйся больше. Надоело мне твоей нянькой быть.

В это время третий конвоир, худошавый и веснушчатый парень в зеленых плисовых штанах, вдруг страшным голосом закричал:

— Глядите, глядите! Что это за птица такая летит?

Словно по команде, все глянули в ту сторону, куда указывал он своей нагайкой. Там, отчаянно треща, летел с юга чуть повыше сопки похожий на стрекозу аэроплан. Покачиваясь, взблескивая пропеллером, приближался он к дороге не прямо над ними, а немного в стороне.

— Это ероплан! Сейчас нас угостит! — завопил Ермошка. — Сворачивай в лес! — приказал он вознице. — Живо! Иначе останется от нас мокрое место. — И не дожидаясь, когда телега свернет с дороги, огрел коня нагайкой и

помчался через неширокую полянку в лес. За ним последовали и оба других конвоира. Ганька и Гошка заматались в телеге, пытаясь развязать себя. Вместо того чтобы поскорей свернуть с дороги, хромой возница прыгнул с облучка, выругался и схватил под уздцы свою кобылицу. Поглядывая на пересекающий дорогу аэроплан, он шурился с веселой хитринкой в глазах.

— Да развяжи ты нас, дядя! — взмолился Гошка. — Спустит он бомбу, и поминай как звали...

— Не спустит! — оскалился возница. — Сидите себе на здоровье. Он уже дорогу перелетел. Он нас, может, и не заметил вовсе. Да и не будет он зря бомбы переводить. В Богдате торопится, там вот наделает переполоху...

Видя, что аэроплан удаляется, ребята успокоились. Немудрящий с виду возница сразу стал в их глазах героем. Глядя на него с одобрением, Гошка спросил:

— Откуда ты все знаешь, товарищ?

— А отчего же не знать? — отозвался самодовольным тенорком возница. — У меня за плечами, слава богу, четыре года германской войны. Я там на эти аэропланы посмотрелся. Знаю, когда их надо бояться... Да что толковать об этом. Вы мне лучше скажите — туда вас везут, куда надо?

— Туда, туда! — заулыбался Гошка. — Идем мы с донесением в партизанский штаб. Старший зря над нами куражится. Ему еще за это попадет.

— Пожалуюсь я дяде, так его отучат кулаками махать, — сказал Ганька, ощупывая распухшие губы.

— А кто твой дядя?

— Улыбин Василий Андреевич.

— Знаю, знаю такого. Видал его, когда партизаны вниз по Аргуни отступали. Дядя у тебя — дай бог каждому. Молодец!.. А только ты, товарищ, зря на себе шкуру дерешь. Этот Ермошка — человек заполошный. Ушибленный какой-то. Не стоит его распекать. Из-за угла убить может.

— Не шибко я его испугался. Видали мы таких... Небось напустил в штаны, как аэроплан увидел.

— А ты сам-то не напустил? — рассмеялся возница. — С непривычки оно, паря, хоть кто испугается. Раньше такие пташки здесь не летали, у Семенова их не было. Видно, правду говорят, что японцы из степей на Богдате идут.

С этими шутки плохие. Воевать они умеют. Туго партизанам придется.

— Отчего это, дядя, ты не в партизанах? Бывший фронтовик, а живешь дома.

— Куда мне с хромой ногой. Покалечил мне ее германец в Пинских болотах. Только, по всему виду, дома я недолго насажу. Одними нарядами в подводы замучили. Придется, должно быть, к красным подаваться. При японцах дома можно в один момент голову потерять.

Конвоиры вернулись из лесу растерянные и пристыженные. Белокопытов виновато посмеивался, Ермошка сердито молчал.

— В штанах-то сухо? — спросил его Ганька. — Никак я не думал, что ты этажерки с крыльями испугаешься.

— Ладно, сначала нос утри, сопляк! — огрызнулся он и вдруг накинулся на возницу: — Почему моего приказа не выполнил? Почему в лес не свернул?

— Жалко было телегу о пеньки ломать. Я ведь видел, что аэроплан в стороне летит. Чего же от него было бегать? Это уж вы, необстрелянные, бегайте, а мне не пристало.

— Это почему же? Ты что, Кузьма Крючков? Море тебе по колено?

— Нет, я не Крючков. Я русский солдат, в семи ступах толченный, в семи кипятках варенный. Ты еще у мамки титьку сосал, а я уже в окопах вшей кормил.

— Ну, расхвастался! Фронтовик, а дома сидишь, — закипятился Ермошка и скомандовал конвоирам: — Развяжите этих оборотов. Будь они несвязанные, вперед бы нашего в лес драпанули. Теперь же сидят и героев из себя корчат, зубы скалят. Зря ты, Белокопытов, не дал мне шлепнуть их вместе с возницей, чтобы не задавались.

— Не бесись, Ермолай, не бесись! — начал уговаривать его возница. — Никто над тобой не смеется. А на ребят, если ты не псих, зря несешь. Ты Улыбина знаешь?

— Какого Улыбина? Журавлевского помощника или командира сотни?

— Василия Андреевича.

— Его любой партизан знает. А к чему ты об этом спрашиваешь?

— К тому, что вот этот парень, — показал возница на Ганьку, — его родной племян.

— Вот так пирог с начинкой! — обескураженно свист-

нул Ермошка. — Выходит, ты брат нашего командира сотни? Чего же ты сразу об этом не сказал?

— А ты нас шибко слушал? — напустился на него Ганька. — Ты нам рта раскрыть не давал. Задавался, как самая последняя сволочь.

— Ну что, говорил я тебе? — сказал Ермошке Белокопытов. — Придется теперь ответ держать.

— Да, нехорошо получилось! — зачесал Ермошка в затылке. — Выходит, зря ты зуботычину скушал. Ты, будь добр, послушай, что я тебе скажу. Дай мне три раза по морде — и помиримся.

— Рук о тебя марать не хочу. Я лучше обо всем расскажу Роману.

— Значит, жаловаться решил? Ну и жалуйся, черт с тобой! Только ничего мне и Роман не сделает. Дальше передовой все равно не отправят.

— Это как сказать! — ухмыльнулся Гошка. — Могут из партизан прогнать. Могут и расстрелять, если это не первая провинность. Весной одного такого перед строем полка в Орловской расхлопали за то, что любил к девкам под подол заглядывать, наганом в зубы тыкать. Наверно, сам про тот случай знаешь?

— Знаю! — признался Ермошка. — Только я не из тех, кого расстреливают. Я сам расстреливаю.

— Нашел чем хвастаться, — сказал осуждающе Белокопытов. — Думаешь, если приговоренных рубишь, так тебе все сходить будет. Нет, провинишься — и тебя не помилуем. Постановим всей сотней — и пойдешь в расход.

Ермошка приуныл. Потом неожиданно обратился к Ганьке:

— Слушай, тебе мой карабин нравится? Таких у нас три на всю сотню. Если согласишься на мировую, твой будет. По рукам, что ли?

Такое предложение Ганьке пришлось по душе. Карабин был совсем новенький, с хорошо отполированным прикладом и вороненым стволом. Ганька давно мечтал о таком великолепном ружье. Но слишком свежа была его обида на Ермошку, унизившего его зуботычиной.

— Соглашайся! — шепнул ему Гошка.

— Не отказывайся, паря, бери! — подмигнул возница.

Но Ганька не согласился. Он готов был на что угодно, чтобы только не дать своего согласия.

Раздосадованный его отказом, Ермошка долго молчал. Потом криво усмехнулся и сообщил:

— Уйду я из сотни Романа. Пойщу себе нового командира. Совесть, хотя она и не дым, а глаза ест...

В Богдаты приехали в полдень. Это была большая, с добротными домами и обширными усадьбами, станица. Со всех сторон окружили ее высокие лесистые горы. Японский летчик сбросил в самом центре станицы три небольшие бомбы. У воронок, вырытых бомбами около церкви на площади, толпились партизаны и местные жители. Тут валялись убитые лошади в хомутах и седлах, лежала опрокинутая телега с мешками печеного хлеба. Налетающий порывами ветер гонял по площади целую тучу белых и пестрых куриных перьев. Одна бомба угодила прямо в большую стаю чьих-то кур, клевавших просыпанный на дороге овес.

Партизанский штаб помещался в доме бежавшего к семуновцам попа. Над штабом развевался кумачовый флаг с вышитыми золотом серпом и молотом. В просторной ограде стояли оседланные кони, толпились ординарцы. У высокого крашеного крыльца отдавал какие-то распоряжения сдившемуся на коня ординарцу адъютант Журавлева. Это был чубатый и рослый казак в красных сапогах и малинового сукна галифе, при шашке и маузере.

— Товарищ Апрельков! — обратился к нему Ермошка. — Я тут ребят привез. У них донесение к самому Журавлеву. Давай принимай их у меня.

— Откуда, хлопцы, пожаловали? — спросил Апрельков подошедших к крыльцу Ганьку и Гошку.

— Мы из-за границы, с донесением от Димова.

— Где ваше донесение? Давай его сюда.

— Его не отдашь. Оно у нас в голове, а не в пакете.

— Тогда обождите минутку. Сейчас доложу о вас. Как ваши фамилии?

— Улыбин и Пляскин.

— Хорошо! — и гремя шашкой по ступеням крыльца, Апрельков ушел в дом. Вернувшись назад, пригласил:

— Давайте к Павлу Николаевичу.

Журавлев встретил ребят в большой и светлой комнате с цветами на подоконниках, с тюлевыми шторами на окнах, с красной дорожкой на полу. Он был в темно-синих бриджах с кожаными леями и сером суконном френче с накладными карманами. Широколицый и лобастый, с редки-

ми, аккуратно зачесанными назад волосами, Журавлев выглядел старше своих тридцати шести лет. Он был не один. У письменного стола сидел плотный и коренастый военный в простой суконной гимнастерке, с планшеткой на коленях и карандашом в руках.

— Здравствуйте, орлы! — удивленный молодостью димовских посланцев, без обычной серьезной сдержанности и громче, чем надо, поздоровался с ними Журавлев. — Ну, так что велел передать мне Димов?

— Он велел передать, что наш госпиталь на Быстрой... — тут голос Гошки внезапно пресекся от подступивших к горлу слез. Он с усилием отглотнул их и досказал: — ...вырезали его белые, товарищ Журавлев.

— Час от часу не легче! — схватился за голову Журавлев. Его собеседник вскочил на ноги, уронив планшетку на пол. Шагнув к Гошке, с дрожью в голосе спросил:

— Как же это случилось?

— Очень просто. На свету, в самый сон, нагрянули какие-то дружинники и всех перебили.

— Значит, никто не уцелел? — вмешался Журавлев.

— Из тех, кто оставался в то время в госпитале, спасся только один раненый. А мы вот с ним, — показал Гошка на Ганьку, — за каких-то полчаса до налета в лес ушли. Завахоз нас ягодники искать отправил. Спасся и Бянкин со своим кучером. Он вечером в бакалейки к Димову уехал.

— Да, порадовали вы нас, нечего сказать. От такой новости с ума сойти можно. — И Журавлев принялся возбужденно ходить по комнате, то ахая, то хлопая себя руками по бедрам. Потом вдруг остановился перед своим собеседником и сказал:

— Вот, брат Киргизов, на какую подлость они решились. Перебить беспомощных раненых... Какие же это мерзавцы!

— Чего же ты от них ждешь? Это же озверелое кулачье... Воевать с нами у них кишка тонка. А вот пороть, убивать, вешать — на это они способны. На устрашение действуют.

— Ну, этим народ не устроишь, а только озлобишь. Не зальешь пожар керосином. Все обернется против них. И раз уж они пошли на это, пусть не рассчитывают на жалость с нашей стороны. На дне моря достанем, из любой щели вытащим всех, у кого руки в крови...

Гошка не вытерпел, перебил Журавлева:

— Сделать бы налет на Олочинскую да запалить ее со всех сторон.

— Почему на Олочинскую?

— Это наверняка Олочинская дружина была.

Киргизов резко повернулся к Гошке, осуждающе покачал головой. И Журавлев с какой-то горькой иронией произнес:

— Нет, брат, со всех концов не выйдет. Я бы согласился еще с того конца, где богачи живут, да они с краю не селятся. Сам знаешь. Потом ведь не установлено, что это были именно олочинцы. Это лишь твое предположение. А теперь вот что. Дисциплина у тебя хромает, товарищ красный партизан. Старшего начальника перебивать не положено. Учти это на будущее. Сегодня ты партизан, а скоро, глядишь, красноармейцем станешь... Да, кто же из вас Улыбин?

— Я, — ответил, краснея, Ганька.

— Дяди твоего в Богдате сейчас нет. Вернется не раньше чем через пару деньков. Ты отправляйся в сотню к брату. Когда вернется Василий Андреевич, пусть они сами тебя определяют, куда захотят. Может, при штабе оставят, может, в обоз пошлют.

— Я в обоз не пойду. Я воевать хочу. За отца буду мстить, за доктора Карандаева, за всех наших.

— Сколько тебе лет?

— Почти шестнадцать.

— А если без «почти», тогда сколько?

Ганька потупился и ответил:

— На полгода меньше.

— Полгода — это ничего. Насмотрелся ты такого, что наверняка на два года повзрослел. Верно я говорю?

— Не знаю. Шибко злой я на белых.

— Значит, боец из тебя выйдет. Чем злее солдат в бою, тем он лучше... Ну, а вы мне все рассказали, ничего не забыли?

— Разрешите мне ответить? — попросил Гошка.

Журавлев едва заметно улыбнулся:

— Говори.

— Димов просил передать, что у него закуплено тридцать тысяч винтовочных патронов и десять ящиков гранат.

— Это хорошо. Учтем. Патроны нам позарез нужны. Еще что?

— Больше ничего.

— Тогда можете быть свободными. Идите и устраивайтесь в сотне Улыбина. А завтра вас вызовет начальник нашего Особого отдела товарищ Нагорный. Расскажите ему обо всем. Думаю, что рано или поздно, а он установит, кто эти мерзавцы дружинники. Тогда им солоно придется... Всего хорошего, ребята.

6

Выйдя от Журавлева и спускаясь с крыльца, Ганька увидел своего старшего брата Романа. С вороним конем в поводу стоял он у раскрытых настежь ворот и разговаривал с Апрельковым. Ганька сразу узнал его. Но это был совсем другой Роман, чем в годы Ганькиного детства или два года тому назад, когда провожали его Улыбины в Красную гвардию. Тогда все в нем было такое родное, знакомое и привычное. В новой, необмятой и необношенной казачьей форме с лампасами, но без погон, он выглядел тогда совсем не по-военному, хотя и старался держать себя как бывалый, огни и воды прошедший казак. Касторовая гимнастерка сидела на нем нескладно, как пошитая наспех рабочая рубаша из дешевой дрели. Поясной ремень был слабо затянут, и пряжка его сбивалась то вправо, то влево. Неловко сидела на чубатой голове и зеленая с высокой тульей фуражка. Лихо, но неумело заломленная набекрень, она не раз сваливалась с головы, пока Роман, уже сидя на коне, пожимая руки родным и знакомым, целовался с матерью и отцом. Во время того памятного прощания с горькой и милой юностью, с прежней навеки сломанной жизнью Роман делался то преувеличенно серьезным и важным, то забывался и снова становился самим собой. Яснее всякого зеркала отражало лицо его все порывы и движения молодой души. Оно дышало удалью и молодечеством, омрачалось тоской и грустью, расплывалось в наивной простецкой улыбке, то безотчетно веселой, то застенчивой и виноватой. И каждому тогда было видно, что все невзгоды и тяготы воинской жизни еще впереди у этого доброго малого.

Теперь же перед Ганькой стоял молодцевато подтяну-

тый, побывавший в передрягах человек. На лице его резко обозначились крепкие, продубленные солнцем скулы, туго налитые прежде щеки сильно запали. Успел он когда-то рапроститься и с пышным чубом, старательно и задорно начесанным на круто изогнутую бровь. Теперешнего Романа отличала строгая, нелегко и нескоро усвоенная выправка, спокойно сдержанный и независимый вид. Необычайно шла к нему небогатая, по-суровому простая одежда. Носил он хлопчатобумажную, изрядно выгоревшую на солнце гимнастерку, защитного цвета бриджи, сапоги с брезентовыми голенищами и слегка сбитую на ухо рыжую кожаную фуражку. Все это казалось на нем удобным и ловко подогнанным. Туго затянутый ремнем, вооружен он был шашкой в избитых ножнах и револьвером в потрепанной кобуре.

Увидев Ганьку, Роман пошел ему навстречу широким упругим шагом, счастливо улыбаясь и раскинув для братских объятий руки. И когда Ганька заметил в глазах его слезы, понял, что им с Романом одинаково дороги навеки связывающие их узы братства, горькая память о прошлом, о тех, кого нет и уже никогда не будет.

Растроганно припав друг к другу, они троекратно расцеловались и заговорили, смеясь и перебивая один другого.

— А ты здорово подрос! Гляди, так скоро меня перегонишь.

— Зато ты похудел. Я тебя вдруг-то и не узнал. Раньше ты...

— Мало ли что раньше было. Было да быльем поросло. Давно ли ты верхом на прутике ездил, сегодня партизаном стал...

— А дядя где? Ты его давно видел?

— Он где-то на Шилке. Там семеновская пехота с пароходов высадилась. Вот его и послал туда Журавлев... А что, госпиталь-то в самом деле вырезали?

— Вырезали.

— Дела! — покачал головой Роман. — Много народу погибло?

— Больше ста человек.

— Ну, пошли ко мне. Там у меня ребята ужин варят. Сегодня в разъезде козу подстрелили.

Когда шли по улице, Роман спросил:

— Что у вас в дороге с Ермошкой произошло? Вернулся

он в сотню, рассказал, что привез вас, а потом собрал свои пожитки и куда-то смотался.

— Он мне кулаком в зубы заехал. Вздумал нас связать, а я решил не даваться. Разозлился он, затрясся весь и дал мне раза, — все это Ганька говорил так, словно Ермошкина зуботычина была невинной, доставившей ему удовольствие шуткой.

— Вот скотина! Хорошо, что я раньше не узнал об этом. Я бы ему показал, как мордобоем заниматься. А ты что-то на него не очень и обижен?

— Что с такого возьмешь! Он не то с придурью, не то помешанный.

— Похоже, что малость тронутый. Взяли мы летом в плен его родного дядю, семеновского милиционера на прииске. Приговорил его трибунал к смертной казни, и Ермошка собственноручно снес ему голову. Приверженность свою хотел доказать. Нашлись люди, которые похвалили его за это. С тех пор он и начал вызываться головы приговоренным рубить. Твердость свою доказал, а сам с колков сорвался. Стал по ночам во сне кричать, метаться, как от удушья, а днем часто напивается. Страшно любит обменивать вещи. Меняется всем, чем придется. И всегда требует придачу самогоном или ханшином.

— Он и меня приглашал меняться. Чтобы задобрить, свой карабин мне за берданку отдавал, да я не согласился.

— Правильно сделал. Он тебя оскорбил, а этого ни за какую подачку прощать нельзя.

Гошка Пляскин, молча шедший все это время сзади братьев, догнал их и сказал:

— Выходит, Ермошка форменным палачом сделался. Это никуда не годится. Конечно, надо головы врагам рубить. А только не следует всякий раз в это дело Ермошку втравлять. Так его можно совсем испортить. И чего только начальство смотрит?

Роман почувствовал себя виноватым.

— Это ты, Пляскин, дело говоришь, — согласился он. — Запрещать Ермошке я не мог. Меня бы тогда обвинили черт знает в чем. Надо будет насчет его с трибуналами потолковать. Перестанут его приглашать на казни, может, он постепенно в себя придет.

Свернув в переулок, ведущий под гору, Роман остановился у третьего по счету дома. Это был серый от старости

пятистенки, срубленный из долговечных лиственничных бревен, поражавших своей толщиной. На пологой шатровой крыше его зеленел лишайник, валялись накинанные ребятишками камни и палки. Шесть украшенных резными наличниками окон дома глядели на заросшую кустами и все еще зеленеющую долину Урюмкана. На подоконниках стояли горшки с красной, белой и розовой геранью, а в чисто промытых верхних стеклах удивительно отчетливо отражалась росшая в огороде на бугре береза, бегущие по небу облака и дальние синие горы в дремучих лесах. Что-то невозвратное и милое хотели напомнить Ганьке эти цветущие герани, эти мимолетные отражения в стеклах и не могли.

— Вот здесь я и располагаюсь, — сказал радушно и весело Роман. — Вместе со мной разместился весь первый взвод.

— А чей это дом? — спросил Ганька, пораженный тем, как щедро расходовал безвестный хозяин свою мужицкую силушку на каждое уложенное в стены бревно, на каждый в полтора обхвата столб, глубоко вкопанный в землю, и на широкие тесанные плахи в глухих заплотах ограды.

— Одного старого белковщика и медвежатника. Долинин его фамилия, — ответил Роман.

— Могучий, видать, старик. Вон какой домище сгрозил. И все одним топором орудовал, пилы не признавал.

— Сгрозил, да не он. Он и сам толком не знает, хоть ему уже семьдесят лет, кто строил этот дом — то ли дед его, то ли прадед. Дом этот самый старый в Богдати. Когда его рубили, никаких пил и в помине не было.

— Дом еще триста лет простоит, и ничего ему не сделается, — сказал Гошка. — Лиственница такое уж дерево. Сырая потяжелее железа будет, на воде не держится, а сразу тонет. Просушит ее солнцем — звенит, как железная, и никакая ее гниль не берет. Видал я в Аргунске один дом. Его, говорят, еще казаки атамана Колесникова построили, как на Аргунь приплыли. А это было чуть ли не при Иване Грозном.

— Вполне возможная вещь, — согласился Роман и спросил Гошку: — А ты, должно быть, хорошо грамотный?

— В гимназии учился. Кончить, правда, не пришлось, но кое в чем поднаторел, как в Аргунске говорят.

— Штабу нашего полка старший писарь требуется. Может, пойдешь на эту должность?

— Нет, в писаря не пойду. Воевать буду. Пусть бумагу другие портят...

Пройдя в распахнутые настежь ворота с узкой замшевой крышей на прямых и высоких столбах, ребята очутились в просторной ограде. Со всех сторон окружали ее амбары, сарай, завозни и сушила с лесенкой. Слева вдоль амбаров тянулась большая новая коновязь. У нее стояли расседланные кони всех мастей. На их мордах висели брезентовые торбы с овсом, и Ганька слышал, как сочно похрукивали и похрустывали кони, помахивая от удовольствия хвостами. Все седла были разложены вверх потниками на сушилах, предамбарьях и вытащенных из завозни санях. Под одним из сараев стояли составленные в козла винтовки, а на вбитых в стены деревянных спицах висели гроздь патронташей, поблескивали желтой медью головки и ножны шашек.

В глубине ограды пылал большой костер. Вокруг него сидели на досках и чурбанах пестро одетые партизаны. Широко раздувая ноздри, нетерпеливо принюхивались они к дразнящему запаху варившейся в больших котлах козлятины.

Возле свинарника у широкого корыта с какой-то бурдой громко чавкали и довольно похрюкивали две белые свиньи в окружении целой дюжины круглобоких розовых поросят. У коновязи бродили меж конских ног куры-пеструшки и клевали просыпанный овес. Неподалеку стоял на бревне вытянувшийся, как солдат в строю, огненно-красный петух и ревниво следил за курами.

— Вот это да! — воскликнул Гошка. — Гляжу и глазам своим не верю. Прямо оторопь взяла.

— Чему это ты не веришь? — заинтересовался Роман.

— Не верю, что здесь партизаны живут. Какая-то святая жизнь здесь, как у Ноя в ковчеге. Поросятки хрюкают, курочки квохчут, теленок мычит, а усатые тигры в штанах мирно сидят у костра, варят похлебку и никого не трогают. Прямо божественное зрелище. Видать, смиренные нынче тигры пошли. Весной я таких не встречал. Увидят поросенка, хватают на всем скаку — и в мешок, наткнутся на куриц — пойдет такая потеха, что лишь перья летят. А с

бедных ягнят сдирали их драгоценные шкурки и торговали ими напропалую.

Роман сразу нахмурился, круто повернулся к Гошке и осуждающе сказал:

— Вон ты какой орел-ягнятник! Я и не знал, что ты гроза всех поросят и цыплюшек. В каком полку раньше был?

— В четвертом, у Белокулакова.

— Тогда понятно. Там охулки на руку не клали. Баракхольщики были отменные. Где пройдут-проедут, там хоть шаром после них покати. Но теперь и их приструнили. Такую дисциплину навели, что самые отпетые ухари скорее себя дадут съест, чем на поросячью ножку прельстятся. У нас ведь теперь Особый отдел есть. Как появились у нас зилевские рабочие, они первым делом потребовали: мародеров — к ногтю, насильников — на распыл. Сидит сейчас в Особом отделе такой дядька, которого все любители чужого, как черт ладана, боятся. Мужик беда серьезный...

— Нам завтра к нему идти придется. Журавлев сказал, что нас вызовут завтра в Особый отдел.

— Ну вам его бояться нечего. У кого совесть чиста, тех он долго не задерживает. Поговорит, пощупает от головы до пяток — и катись себе на здоровье... Ты, Пляскин, наматай это себе на ус. О старых подвигах в курятниках забудь и думать.

— Да ведь я это так трепался...

— Тогда все в порядке. Оставайся с нами ужинать, а потом можешь идти свой полк разыскивать, если не хочешь в моей сотне остаться.

— Оставайся, Гошка, — попросил Ганька. — Вместе будем. Я ведь к тебе шибко привык.

— Посмотрю, как на старом месте встретят. Не понравится — назад мне вернуться недолго.

После сытного ужина на свежем воздухе, в котором принял участие и хозяин дома старик Долинин с белоглазым веснушчатым внуком, Гошка поблагодарил партизан за угощение и ушел. Ганька проводил его за ворота. Когда вернулся к костру, старик Долинин рассказывал про свои былые охотничьи дела. Он, оказывается, охотился прежде с одинаковой страстью на соболя и белку, на сохатого и медведя. На своем веку он добыл чуть ли не сотню сохатых и ровно сорок пять медведей.

Старик был такой маленький и весь сморщенный, что Ганька слушал его и все время ловил себя на мысли, что не верит ему. И только поэтому из всех его походов запомнил лишь одну, мимоходом рассказанную историю о том, как в ранней молодости старик заблудился в тайге. У него была берданка и всего четыре патрона. Не желая их тратить напрасно, Долинин, чтобы не умереть с голода, терпеливо подстерегал многочисленных лесных рябчиков и всякий раз ухитрялся поддеть на пулю не одного, а обязательно пару рябчиков. В это Ганька поверил сразу и, засыпая потом на сеновале, все время думал о том, чтобы самому научиться стрелять, как этот богдатский старик медвежатник.

7

Утром Ганьку вызвал к себе начальник Особого отдела Алексей Нагорный. Это был тот самый Нагорный, который однажды под видом кузнеца прожил в Мунгаловском целое лето. Осенью его схватили у себя в кузнице по доносу безродного пьяницы Канашки Махракова и надолго упекли на каторгу. Этого человека Ганька совершенно не знал, но хорошо помнил на берегу Драгоценки его полуразрушенную кузницу. Не раз бегал он к ней с ребятами, чтобы поглядеть, где скрывался от царских жандармов таинственный и, по слухам, опасный преступник.

Позже, когда Ганька подрос и узнал, что не был Нагорный ни убийцей, ни грабителем с большой дороги, он стал интересоваться этим рабочим все больше и больше. Не раз расспрашивал Ганька о нем Семена Забережного и своего отца. И уже с другими мыслями и чувствами ходил он и ездил мимо горюнившейся в кустах обветшалой кузницы.

Потом Ганька случайно увидел Нагорного на фотографической карточке. Он был снят на ней вместе с семейством Петрована Тонких, у которого проживал на квартире. Снимок был летний и праздничный. Среди разодетых в белые кофты и рубахи домочадцев Петрована кузнец стоял в светлой вышитой косоворотке и соломенной шляпе. На плохо сделанном снимке лицо его вышло расплывчатым и

плоским, но пышные закрученные кверху усы удались великолепно. Они придавали всей фигуре Нагорного бравый и несколько самодовольный вид.

Всех кузнецов на свете Ганька в детстве считал силачами. Таким нарисовало его воображение и Нагорного. Он представлялся ему рослым и широкоплечим, с непомерной силой в больших руках. Этими руками он должен был шутя ломать подковы, без усталости размахивать на работе молотом, креститься трехпудовыми гирями.

И отправляясь теперь к Нагорному, Ганька радостно волновался. Наконец-то представилась ему возможность повидать человека, который, сам не подозревая того, жил в его памяти трудной загадкой.

Нагорный встретил Ганьку, сидя за столом в тесно заставленной дешевой мебелью горенке какого-то богдатского казака. Он был в серой грубошерстной гимнастерке с туго набитыми чем-то пришитыми карманами и крупными зелеными пуговицами. На столе лежала одна-единственная потрепанная папка с серыми корками, самодельная ручка с привязанным ниткой пером, стоял пузырек с фиолетовыми чернилами. Здесь же дымилась жестяная кружка с чаем, прикрытая черным обгоревшим по краям сухарем.

Нагорному было под пятьдесят. Трудно прожитые годы наложили на лицо его свою неизгладимую печать. Оно поразило Ганьку обилием невероятно причудливых морщин и складок. Они избороздили его загорелый лоб, убегая далеко к тронутым сединой вискам, сбегали к переносью меж рыжих клочкастых бровей. Как тонкие затейливые трещины на иссушенной солнцем земле, теснились морщины под серыми неулыбчивыми глазами, двумя глубокими дугообразными складками падали от переносья к коричневым скулам. И там, где они кончались, брали начало широкие складки на щеках, стекающие под квадратный волевой подбородок. И еще две последние складки, похожие на подкову, уходили от крыльев носа к углам большого, энергично очерченного рта. Все эти горькие приметы подступающей старости делали лицо Нагорного угрюмым и даже суровым, когда не разглаживал их веселый смех, не смягчала приветливая улыбка.

— Улыбин? — спросил Нагорный, выходя из-за стола навстречу Ганьке. В глухом и низком голосе ясно звучали нотки заинтересованности и расположения. Оробевший

Это была демоверсия книги - Седых К.Ф. Отчий край

С полной версией книги можно ознакомиться в нашей библиотеке по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ангарская, д. 34